Бильярд в половине десятого

Автор:
Генрих Бёлль

Бильярд в половине десятого

Генрих Бёлль

Эксклюзивная классика (АСТ)

Война окончена? Возможно. Но… не для тех, по чьим судьбам она прошлась тяжело и беспощадно. Германия восстановилась и процветает? Возможно – для тех, кто, согласно глубокому символизму романа Бёлля, принял «причастие буйвола». Они не всегда преступники, и руки их исконных противников – «агнцев» – зачастую тоже обагрены войной. Однако именно они, полные плотской жажды жизни, хотят забыть о прошлом. А вечно неудобные «агнцы», одержимые памятью, не дают им этого сделать! Но в день восьмидесятилетия магната Генриха Фемеля будут сброшены многие маски…

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Генрих Бёлль

Бильярд в половине десятого

1

В то утро Фемель впервые был с ней невежлив, можно сказать, груб. Он позвонил около половины двенадцатого, и уже самый голос его предвещал беду: к таким интонациям она не привыкла, и именно потому, что слова были, как всегда, корректны, ее испугал тон: вся вежливость Фемеля свелась к голой

формуле, словно он предлагал ей Н

О вместо воды.

– Пожалуйста, – сказал он, – достаньте из письменного стола красную карточку, которую я дал вам четыре года назад.

Правой рукой она выдвинула ящик своего письменного стола, отложила в сторону плитку шоколада, шерстяную тряпку, жидкость для чистки меди и вытащила красную карточку.

– Пожалуйста, прочтите вслух, что там написано.

Дрожащим голосом она прочла:

– «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

– Пожалуйста, повторите последние слова.

Она повторила:

– «…но больше я никого не принимаю».

– Откуда вы, кстати, узнали, что телефон, который я вам дал, это телефон отеля «Принц Генрих»?

Она молчала.

– Разрешите напомнить вам, что вы обязаны выполнять мои указания, даже если они даны четыре года назад… пожалуйста.

Она молчала.

– Просто безобразие…

Неужели на этот раз он не сказал «пожалуйста»? Она услышала невнятное бормотание, потом чей-то голос прокричал «такси, такси», раздались гудки; повесив трубку и подвинув красную карточку на середину стола, она почувствовала облегчение: эта его грубость, первая за четыре года, показалась ей чуть ли не лаской.

Когда она бывала не в своей тарелке или же когда ей надоедала ее до мелочей упорядоченная работа, она выходила на улицу почистить медную дощечку на двери: «Д-р Роберт Фемель, контора по статическим расчетам. После обеда закрыто».

Паровозный дым, копоть от выхлопных газов и уличная пыль каждый день давали ей повод достать из ящика шерстяную тряпку и жидкость для чистки меди; ей нравилось коротать время за этим занятием, растягивая удовольствие на четверть, а то и на полчаса. Напротив, в доме 8 по Модестгассе, за пыльными стеклами окон были видны типографские машины, которые неутомимо печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; она ощущала вибрацию машин, и ей казалось, будто ее перенесли на плывущий или отчаливающий корабль. Грузовики, подмастерья, монахини… на улице кипела жизнь; перед овощной лавкой громоздились ящики с апельсинами, помидорами, капустой. А в соседнем доме, перед мясной Греца, два подмастерья вывешивали тушу кабана – темная кабанья кровь капала на асфальт. Она любила уличный шум и уличную грязь. При виде улицы в ней поднималось чувство протеста, и она подумывала, не заявить ли Фемелю об уходе, не поступить ли в какую-нибудь паршивую лавчонку на заднем дворе, где продают электрокабель, пряности или лук; где хозяин в засаленных брюках с болтающимися подтяжками, расстроенный своими просроченными векселями, того и гляди станет к тебе приставать, но его по крайней мере можно будет осадить; где надо бороться, чтобы тебе позволили просидеть часок в приемной у зубного врача; где по случаю помолвки сослуживцы собирают деньги на коврик с благочестивым изречением или на душещипательный роман; где непристойные шуточки товарок напоминают тебе, что сама ты осталась чиста. То была жизнь, а не безукоризненный порядок, раз навсегда заведенный безукоризненно одетым и безукоризненно вежливым хозяином, вселявшим в нее ужас; за его вежливостью чувствовалось презрение, презрение, выпадавшее на долю всех тех, с кем он имел дело. Впрочем, с кем, кроме нее, он имел дело? На ее памяти он не говорил ни с одним человеком, не считая отца, сына и дочери. Матери его она никогда не видела: госпожа Фемель находилась в клинике для душевнобольных, а этот господин Шрелла, чье имя тоже значилось на красной карточке, ни разу не вызывал его. У Фемеля не было приемных часов, и когда клиенты звонили по телефону, она предлагала им

обратиться к хозяину письменно.

Поймав ее на какой-нибудь ошибке, он ограничивался пренебрежительным жестом и словами:

– Хорошо, тогда переделайте это, пожалуйста.

Но такие случаи бывали редко, она сама находила те немногочисленные ошибки, которые допускала. И уж конечно Фемель никогда не забывал сказать «пожалуйста». Стоило ей попросить, и он отпускал ее на несколько часов, а то и на несколько дней; когда умерла ее мать, он сказал:

– Значит, закроем контору дня на четыре… или на неделю.

Но ей не нужна была неделя, четырех дней и то было много, ей хватило бы и трех; даже три дня в опустевшей квартире показались ей чересчур долгим сроком. На заупокойную мессу и на похороны он явился, разумеется, во всем черном. Пришли его отец, сын и дочь, все с огромными венками, которые они собственноручно возложили на могилу; Фемели прослушали литургию, и старик отец, самый из них симпатичный, прошептал ей:

– Семья Фемель знакома со смертью, мы с ней накоротке, дитя мое.

Он беспрекословно исполнял ее просьбы и давал ей всякие поблажки, так что ей становилось все труднее обращаться к нему за каким-нибудь одолжением; ее рабочий день все больше сокращался, и если в первый год она еще отсиживала с восьми до четырех, то вот уже два года, как работа настолько упорядочилась, что ее с успехом можно было выполнить с восьми до часу, да еще оставалось время поскучать и повозиться полчаса с дверной дощечкой. Теперь на медной дощечке не было ни пятнышка. Она со вздохом закупорила бутылку с жидкостью для чистки, спрятала тряпку; типографские машины по-прежнему стучали, печатая что-то неумолимо назидательное на белых листах бумаги; с кабаньей туши по-прежнему капала кровь. Подмастерья, грузовые машины, монахини… на улице кипела жизнь.

Письменный стол и красная карточка, исписанная его безукоризненным архитекторским почерком: «…но больше я никого не принимаю». И этот номер телефона, в часы скуки она с большим трудом установила, чей он, краснея за свое любопытство. Отель «Принц Генрих». Это название дало ее любопытству новую пищу: что он делает по утрам с половины десятого до одиннадцати в отеле «Принц Генрих»? Его ледяной голос в трубке: «Просто безобразие…» Неужели он так и не сказал «пожалуйста»? Внезапная перемена в тоне Фемеля вселила в нее надежду, примирила с работой, которую мог бы выполнять и автомат.

В ее обязанности входило составлять письма по двум образцам, не претерпевшим за четыре года ни малейших изменений. Копии этих образцов она нашла уже в папках своей предшественницы; одно письмо предназначалось для клиентов, присылавших им заказы: «Благодарим Вас за оказанное доверие, постараемся оправдать его быстрым и точным исполнением Вашего заказа. С совершенным почтением…»; второе письмо, сопроводительное, отсылалось заказчикам вместе со статическими расчетами: «При сем прилагаем необходимые данные к проекту «X». Гонорар в размере «Y» просим перевести на наш текущий счет. С совершенным почтением…» Ей оставалось только выбрать нужный вариант: так, вместо «X» она писала «вилла для издателя на опушке леса», или «жилой дом для учителя на берегу реки», или же «виадук на Холлебенштрассе». А вместо «Y» – сумму вознаграждения, которую она сама должна была высчитать, пользуясь нехитрым ключом.

Кроме того, она вела переписку с тремя сотрудниками конторы – Кандерсом, Шритом и Хохбретом. Она распределяла между ними полученные заказы в порядке их поступления, чтобы, как говорил Фемель, «справедливость соблюдалась совершенно автоматически и все имели равные шансы на заработок». Когда готовые материалы поступали в контору, она посылала вычисления Кандерса на проверку Шриту, вычисления Хохбрета – Кандерсу, вычисления Шрита – Хохбрету. Ей приходилось вести картотеку, записывать накладные расходы, снимать с чертежей копии, изготовлять для личного архива Фемеля по одной копии каждого проекта размером в две почтовые открытки; но большую часть времени отнимала у нее наклейка почтовых марок: раз за разом проводила она оборотной стороной зеленого, красного или синего Хейса по маленькой губке, а потом аккуратно наклеивала марку на правый верхний угол желтого конверта; когда же Хейс оказывался, скажем, коричневым, лиловым или желтым, она воспринимала это как приятное разнообразие в своей работе.

Фемель взял себе за правило приходить в контору не больше чем на час в день: он ставил свою подпись после слов «С совершенным почтением» и подписывал денежные переводы. Когда заказов поступало столько, что с ними нельзя было управиться за час, он их не принимал. Для таких случаев существовал бланк, отпечатанный на ротаторе: «Мы весьма польщены Вашим заказом, однако из-за перегрузки вынуждены от него отказаться. Подпись: Ф.».

Просиживая напротив патрона каждое утро с половины девятого до половины десятого, она ни разу не видела его за отправлением каких-нибудь естественных человеческих потребностей – не видела, чтобы он ел или пил, у него никогда не было насморка; краснея, она думала о еще более интимных вещах. Правда, он курил, но и это не восполняло пробела: слишком уж безупречно белой была его сигарета; утешали ее только пепел и окурки в пепельнице; этот мусор говорил хотя бы о том, что здесь присутствовал человек, а не машина. Ей приходилось работать и у более могущественных хозяев, у людей, письменные столы которых походили на капитанские мостики, у людей, чьи физиономии внушали страх, но даже эти властелины, случалось, выпивали чашку чая или кофе и съедали бутерброд, а вид жующих и пьющих владык всегда приводил ее в волнение – хлеб крошился, на тарелке оставались колбасная кожица и обрезки сала от ветчины, владыкам приходилось мыть руки, доставать из кармана носовой платок. И тогда на гранитном челе полководца разглаживались грозные складки, а человек, чье изображение со временем будет отлито в бронзе и водружено на постамент, дабы возвестить грядущим поколениям его величие, вытирал губы.

Но когда Фемель в восемь тридцать утра выходил из жилой половины дома, никак нельзя было заметить, что он завтракал. Как положено хозяину, он не проявлял ни беспокойства, ни нарочитого спокойствия, а его подпись, даже если ему раз сорок приходилось ставить ее после слов «С совершенным почтением», была разборчивой и красивой. Он курил, подписывал бумаги, изредка бросал взгляд на какой-нибудь чертеж, ровно в половине десятого брал пальто и шляпу и, сказав «до завтра», исчезал. С половины десятого до одиннадцати его можно было застать в отеле «Принц Генрих», с одиннадцати до двенадцати – в кафе «Цонз», он был всегда рад видеть «…мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу», с двенадцати он гулял, а в час встречался с дочерью и обедал вместе с ней «У льва». Она не знала, как он проводит вторую половину дня и что делает вечерами; знала только, что по утрам, в семь часов, он ходит к мессе, с половины восьмого до восьми сидит за завтраком вместе с дочерью, а с восьми до половины девятого – один. И каждый раз ее поражало, с какой радостью он ждал в гости сына; он то и дело открывал окно и окидывал взглядом улицу до

самых Модестских ворот; в дом приносили цветы, на время приезда бралась экономка; маленький шрам на переносице Фемеля багровел от волнения; уборщицы завладевали мрачной жилой половиной дома и вытаскивали на свет бутылки из-под вина. Их сносили в коридор, для старьевщика; там скапливалось очень много бутылок, сперва их ставили по пять, а потом даже по десять в ряд, иначе они не поместились бы в коридоре – темно-зеленая изгородь, застывший лес; краснея, она пересчитывала горлышки бутылок, хотя понимала, что ее любопытство неприлично: двести десять бутылок, выпитых с начала мая до начала сентября, – больше чем по бутылке в день.

Но от Фемеля никогда не пахло спиртным, его руки не дрожали. Темно-зеленый застывший лес терял свою реальность. Действительно ли она его видела, или лес существовал только в ее воображении? Ни Шрита, ни Хохбрета, ни Кандерса она никогда не встречала. Они сидели где-то далеко друг от друга по своим углам. Всего два раза один из них нашел у другого ошибку: впервые это случилось, когда Шрит неправильно рассчитал фундамент городского плавательного бассейна и его ошибку обнаружил Хохбрет. Она была очень взволнована, но Фемель попросил только, чтобы она указала, какие пометки красным карандашом на полях чертежа сделаны Шритом и какие – Хохбретом; в первый раз ей стало ясно, что и сам Фемель, очевидно, тоже специалист в этой области; полчаса он просидел за своим письменным столом со счетной линейкой, таблицами и остро очиненными карандашами, а потом сказал:

– Хохбрет прав, бассейн развалился бы не позже чем через три месяца.

Ни слова порицания по адресу Шрита, ни слова похвалы по адресу Хохбрета, и когда он, на этот раз собственноручно, подписывал заключение, то рассмеялся, и его смех показался ей почему-то жутким, как и его вежливость.

Вторую ошибку допустил Хохбрет при расчете статических данных железнодорожного моста у Вильхельм-скуле; на этот раз ошибку обнаружил Кандерс, и она снова увидела – второй раз за четыре года – Фемеля за письменным столом погруженным в вычисления. Опять она должна была указать ему, какие пометки красным карандашом сделаны рукой Хохбрета и какие – Кандерса; этот инцидент навел его на мысль предложить каждому сотруднику пользоваться карандашом особого цвета: Кандерсу – красным, Хохбрету – зеленым, Шриту – желтым.

Она медленно выводила: «Загородный дом для киноактрисы», а во рту у нее таял кусочек шоколада; потом она написала: «Перестройка здания общества “Все для общего блага”», и во рту у нее растаял еще один кусочек шоколада. Хорошо еще, что заказчики отличались друг от друга именами и адресами, и когда она глядела на чертежи, ей казалось, что она принимает участие в каком-то настоящем деле: камень, пластмассовые и стеклянные плитки, железные балки и мешки с цементом – все это можно было себе представить, в отличие от Шрита, Кандерса и Хохбрета, адреса которых она ежедневно надписывала. Они никогда не заходили в контору, никогда не звонили по телефону, никогда не писали. Свои расчеты и документацию они посылали без всяких комментариев.

– К чему нам их письма? – говорил Фемель. – Ведь мы не собираемся издавать полных собраний сочинений.

Время от времени она снимала с книжной полки справочник и находила в нем названия мест, которые ежедневно надписывала на конвертах: «Шильгенауэль, 87 жителей, из них 83 римско-кат. вероисповед., знаменитая приходская церковь с шильгенауэльским алтарем XII века». Там жил Кандерс, анкетные данные которого сообщала страховая карточка: «37 лет, холост, римско-кат. вероисповед…» Шрит жил далеко на севере, в Глудуме: «1988 жителей, из них 1812 евангел., 176 римско-кат. вероисповед., консервная промышленность, миссионерская школа». Шриту было 48 лет, «женат, евангелич. вероисповед., двое детей, один старше 18 лет». Местожительство Хохбрета ей не надо было искать в справочнике, он жил в пригороде Блессенфельд, в тридцати пяти минутах езды от города на автобусе: иногда ей приходила в голову шальная мысль – разыскать его и убедиться в том, что он действительно существует, услышать его голос, увидеть его лицо, ощутить пожатие его руки; от этого дерзкого поступка ее удерживали только сравнительная молодость Хохбрета – ему едва исполнилось тридцать два года – и тот факт, что он был холост.

И хотя местожительство Кандерса и Шрита было описано в справочнике так же подробно, как описывают в паспортах приметы их владельцев, и хотя она хорошо знала Блессенфельд, ей все же трудно было представить себе этих троих людей, а ведь она ежемесячно выплачивала за них страховку, заполняла на их имя почтовые переводы, отправляла им журналы и таблицы; они казались ей такими же нереальными, как пресловутый Шрелла, чья фамилия значилась на красной карточке, Шрелла, который имел право прийти к Фемелю в любой час дня, но так и не воспользовался этим правом ни разу за четыре года.

Она оставила на столе красную карточку, из-за которой он впервые был с ней груб. Как звали господина, явившегося в контору около десяти и потребовавшего срочного, сверхсрочного, неотложного разговора с Фемелем? Он был высокого роста, седой, с чуть красноватым лицом; от него пахло дорогими ресторанными яствами, за которые платили из представительских расходов, на нем был костюм, от которого прямо-таки несло добротностью; сознание власти, чувство собственного достоинства и барственное обаяние делали этого человека неотразимым; когда он, улыбаясь, скороговоркой сообщил ей свой чин и звание, ей послышалось что-то вроде «министра» – не то советник министра, не то заместитель министра, не то начальник отдела в министерстве, а когда она отказалась назвать местопребывание Фемеля, он выпалил, доверительно положив ей руку на плечо:

– Но, милое дитя, по крайней мере подскажите, как я могу его разыскать.

И она выдала тайну, сама не зная, как это случилось; ведь тайна, так долго занимавшая ее воображение, была спрятана в ней глубоко-глубоко.

– Отель «Принц Генрих».

Тогда он забормотал что-то насчет однокашника, насчет какого-то срочного, сверхсрочного, неотложного дела, касающегося не то армии, не то вооружения; после его ухода в конторе долго держался аромат дорогой сигары, так что даже час спустя отец Фемеля уловил его и стал возбужденно нюхать воздух.

– Боже мой, боже мой, ну и табачок, вот это табачок, ну и табачок! – Старик прошелся вдоль стен, обнюхивая все вокруг, потом потянул носом над письменным столом, нахлобучил шляпу, вышел и через несколько минут вернулся вместе с хозяином табачной лавки, где вот уже пятьдесят лет покупал сигары; некоторое время они оба, принюхиваясь, стояли в дверях, а потом забегали взад и вперед по комнате, словно собаки, идущие по следу: хозяин лавки полез даже под стол, где, по-видимому, задержалось целое облако дыма, а затем встал, отряхнул руки, торжествующе улыбнулся и сказал:

– Да, господин тайный советник, это была «Партагас эминентес».

– И вы можете достать мне такую же?

– Конечно, они есть у меня на складе.

– Горе вам, если аромат у них не такой.

Хозяин лавки раз понюхал воздух и сказал:

– «Партагас эминентес», даю голову на отсечение, господин тайный советник. Четыре марки за штуку. Сколько вам?

– Одну, дорогой Кольбе, только одну. Четыре марки – это был недельный заработок моего дедушки, а я уважаю умерших и, как вы знаете, не чужд сентиментальности. О боже, этот табак уничтожил все двадцать тысяч сигарет, которые выкурил здесь мой сын.

То, что старик раскурил эту сигару в ее присутствии, она восприняла как великую честь; он сидел, развалясь в кресле сына, слишком для него просторном; а она, подложив старику под спину подушку, слушала его, занятая самым безобидным делом, какое только можно себе представить, – наклеиванием марок. Не спеша проводила она обратной стороной зеленого, красного, синего Хейса по маленькой губке и тщательно наклеивала марки в правый верхний угол конвертов, отправляемых в Шильгенауэль, Глудум и Блессенфельд. Она вся ушла в свое занятие, а старый Фемель упивался блаженством, которого, казалось, тщетно жаждал целых пятьдесят лет.

– Боже мой, – сказал он, – наконец-то я узнал, что такое настоящая сигара, милочка. Почему мне пришлось так долго ждать, до самого моего восьмидесятилетия?.. Ну вот еще, чего вы так разволновались, конечно же, мне сегодня стукнуло восемьдесят… ах, так, значит, не вы послали мне цветы по поручению сына? Хорошо, спасибо, поговорим о моем рождении потом, ладно? От всего сердца приглашаю вас на мой сегодняшний праздник, приходите вечером в кафе «Кронер»… но скажите, милочка Леонора, почему за все эти пятьдесят лет или, точнее, за пятьдесят один год, что я покупаю в лавке Кольбе, он ни разу не предложил мне такой сигары? Разве я скряга? Я никогда не был скупердяем, вы же знаете. В молодости я курил десятипфенниговые сигары, потом, когда стал зарабатывать немного больше, – двадцатипфенниговые, а затем несколько десятков лет – шестидесятипфенниговые. Скажите мне, милочка, что это за люди, которые расхаживают по улице, держа в зубах такую штуковину за четыре марки, заходят в конторы и снова уходят с таким видом,

будто они сосут грошовую сигарку? Что это за люди, которые между завтраком и обедом прокуривают в три раза больше, чем мой дедушка получал в неделю, и оставляют после себя такое благоухание, что я, старик, прямо столбенею, а потом, словно пес, ползаю по конторе сына, обнюхивая все углы? Что? Однокашник Роберта? Советник министра… Заместитель министра… начальник отдела в министерстве или, может, даже сам министр? Я ведь должен знать его. Что? Армия? Вооружение?

Внезапно в его глазах что-то блеснуло, казалось, с них спала пелена: старик погрузился в воспоминания о первом, третьем или, может быть, шестом десятилетии своей жизни – он хоронил кого-то из своих детей. Но кого? Иоганну или Генриха? На чей белый гроб сыпал он комья земли, на чьей могиле разбрасывал цветы? Слезы выступили у него на глазах, – были то слезы 1909 года, когда он похоронил Иоганну, или слезы 1917 года, когда он стоял у гроба Генриха, или слезы 1942 года, когда пришло известие о гибели Отто? А может быть, он плакал у ворот лечебницы для душевнобольных, за которыми исчезла его жена? И снова на глазах старика показались слезы, меж тем как его сигара таяла, превращаясь в легкие колечки дыма, – эти слезы были пролиты в 1894 году, он похоронил тогда свою сестру Шарлотту, ради которой откладывал золотой за золотым, чтобы вызвать к ней врача; веревки заскрипели, гроб пополз вниз, хор школьников пел «Куда улетела ласточка?». Щебечущие детские голоса вторглись в эту безукоризненно обставленную контору, и через полстолетия старческий голос вторил им; то октябрьское утро 1894 года казалось теперь старику Фемелю единственной реальностью: дымка над низовьем Рейна, клочья тумана, сплетаясь в ленты, словно приплясывая, неслись над свекловичными полями, вороны в ивняке каркали, как масленичные трещотки, – а в это время Леонора проводила красным Хейсом по мокрой губке. В тот день, за тридцать лет до ее рождения, деревенские ребятишки пели «Куда улетела ласточка?». Теперь она проводила по губке зеленым Хейсом… Внимание! Письма к Хохбрету идут по местному тарифу.

Когда на старика находило, он становился как будто слепым; Леонора с удовольствием сбегала бы в цветочный магазин, чтобы купить ему красивый букет цветов, но она боялась оставить его одного; он протянул руку, и она осторожно подвинула к нему пепельницу; тогда он взял сигару, сунул ее в рот, взглянул на Леонору и тихо сказал:

– Не думай, душенька, что я сумасшедший.

Она привязалась к старику; он постоянно заходил за ней в контору и уводил ее в «мастерскую своей юности» в доме на противоположной стороне улицы, над типографией. После обеда она должна была приводить в порядок его запущенные канцелярские книги; она разбирала документы, в которых рылись когда-то налоговые инспектора, чьи бедные могилы заросли травой еще до того, как она научилась писать, – вклады были вычислены в английских фунтах, а капиталовложения – в долларах; она просматривала акции плантаций в Сальвадоре, раскладывала пыльные бумаги, расшифровывала выписки из текущих банковских счетов, уже давным-давно закрытых: читала завещания – в них он отказывал имущество детям, которых пережил более чем на сорок лет. «И пусть право пользования моими усадьбами «Штелингерс-Гротте» и «Гёрлингерс-Штуль» будет сохранено всецело за моим сыном Генрихом, ибо в нем я замечаю то спокойствие и ту радость при виде произрастания всего живого, которые представляются мне необходимыми для хорошего землевладельца…»

– Здесь, – закричал старик, размахивая в воздухе сигарой, – на этом самом месте я диктовал своему тестю завещание вечером, накануне того дня, когда должен был уехать в армию; я диктовал, а мой сын спал наверху; на следующее утро он еще проводил меня к поезду и поцеловал в щеку – о, губы семилетнего ребенка, – но никто, Леонора, никто не принимал моих подарков; все они неизменно возвращались ко мне: усадьбы, банковские счета, ренты и доходы от домов. Мне не дано было дарить, зато жене моей это было дано, ее подарки шли на пользу; и по ночам, лежа возле нее, я слышал, как она бормочет долго и нежно, – казалось, это журчит ручеек, – бормочет целыми часами: зачемзачемзачем?..

Старик опять заплакал, теперь он был в мундире, капитан запаса инженерных войск; тайный советник Генрих Фемель приехал во внеочередной отпуск, чтобы похоронить своего семилетнего сына; белый гробик опустили в семейный склеп Кильбов – темная, сырая каменная кладка и яркие, как солнечные лучи, золотые цифры «1917», дата смерти. Роберт, в черном бархатном костюмчике, ожидал их в карете…

Леонора выронила из рук марку – на этот раз лиловую, – она помедлила, прежде чем наклеить ее на письмо к Шриту. У ворот кладбища нетерпеливо храпели лошади. Роберту Фемелю, двух лет от роду, разрешили подержать вожжи; вожжи были черные, кожаные, потрескавшиеся по краям, а свежая позолота на цифре «1917» сверкала ярче солнца…

– Чем он занимается, Леонора, что он делает, мой сын, единственный, кто у меня остался? Что он делает каждое утро с половины десятого до одиннадцати в «Принце Генрихе»? Тогда у ворот кладбища он с таким интересом смотрел, как лошадям повесили на морды мешки с овсом. Чем же он занимается там, в отеле? Скажите мне, Леонора!

Поколебавшись секунду, она подняла с пола лиловую марку и тихо ответила:

– Я не знаю, что он там делает, в самом деле не знаю.

Как ни в чем не бывало старик взял в рот сигару и, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла.

– Что вы скажете, если я предложу вам окончательно закрепить за мною ваши послеобеденные часы? Я буду заходить за вами. Мы бы вместе обедали, а с двух до четырех или до пяти, если вас это устроит, вы помогали бы мне наводить порядок у меня в мастерской наверху. Как вы, милочка, к этому относитесь?

Леонора кивнула.

– Хорошо.

Она все еще не решалась мазнуть лиловым Хейсом по губке и наклеить его на конверт, адресованный Шриту: почтовый чиновник вынет письмо из ящика, а потом его проштемпелюют – «6 сентября 1958 года, 13 часов». Старик, сидевший перед ней, вернулся теперь в свой восьмой десяток и вступил в девятый.

– Хорошо, хорошо, – повторила она.

– Значит, будем считать, что мое предложение принято?

– Да.

Леонора взглянула на его худое лицо. Уже много лет она тщетно пыталась обнаружить в старике сходство с сыном; только подчеркнутая вежливость была общей фамильной чертой Фемелей, но у старика она проявлялась в церемонной обходительности; в его учтивости старинного склада было что-то величавое, она

не была просто алгеброй вежливости, как у сына, который держал себя нарочито сухо, только блеск в серых глазах порой наводил на мысль, что и он способен на нечто большее, нежели сухая корректность. Старик – тот действительно пользовался носовым платком, жевал свою сигару, иногда говорил Леоноре комплименты, хвалил ее прическу и цвет лица; было заметно, что костюм у старика далеко не новый, галстук всегда съезжал набок, пальцы были испачканы тушью, на лацканах пиджака виднелись соринки от ластика, из жилетного кармана торчали карандаши – жесткие и мягкие, а иногда он вынимал из письменного стола сына лист бумаги и быстро набрасывал на нем что-нибудь – ангела или агнца божьего, дерево или силуэт спешащего куда-то прохожего. Иногда он давал ей денег, чтобы она сбегала за пирожными; он попросил ее завести еще одну чашку. В его присутствии Леонора чувствовала себя счастливой – наконец-то она включит электрический кофейник не только для себя, но и для кого-то другого. То была жизнь, к какой она привыкла, – варить кофе, покупать пирожные и слушать рассказы, в определенной очередности: сперва о жизни людей в задней половине дома, а потом о смертях, которыми они умирали. Несколько столетий дом принадлежал семье Кильб, здесь они, погрязая в пороках и стремясь к свету, греша и спасаясь, поставляли городу казначеев и нотариусов, бургомистров и каноников; казалось, в воздухе сумрачных покоев на задней половине дома еще носится что-то от строгих молитв юношей, ставших прелатами, от мрачных пороков девственниц из рода Кильбов, от покаянных молитв благочестивых отроков – в тех покоях, где в тихие послеполуденные часы бледная темноволосая девушка готовила сейчас уроки и поджидала отца. А может, эти часы Фемель проводил дома? Двести десять бутылок вина были выпиты с начала мая до начала сентября. Распил ли он их один или вместе с дочерью? А может быть, с привидениями? Или с этим Шреллой, который ни разу не попытался воспользоваться своим правом? Все это казалось ей нереальным, еще менее реальным, чем пепельные волосы секретарши, занимавшей пятьдесят лет назад ее место и хранившей в те времена тайны нотариальных документов.

– Да, здесь она и сидела, милая Леонора, на том же месте, что и вы, ее звали Жозефина.

Говорил ли старик той, как и ей, комплименты, расхваливая ее прическу и цвет лица?

Старик, смеясь, указал Леоноре на изречение, висевшее над письменным столом его сына; единственное, что сохранилось здесь от прежних времен, – белые

буквы на табличке из красного дерева.

«И правая их рука полна подношений». Это изречение должно было свидетельствовать о неподкупности семьи Кильб, равно как и семьи Фемель.

– Оба моих шурина, последние отпрыски мужского пола в семействе Кильб, не питали склонности к юриспруденции – одного из них тянуло к уланам, другого к безделью, но оба они, и улан и бездельник, погибли в один и тот же день в одном и том же полку во время одной и той же атаки: под Эрби-ле-Юэтт они на рысях въехали под пулеметный обстрел, вычеркнув тем самым фамилию Кильбов из списка живых; они унесли с собой в могилу, в ничто, свои пороки, яркие как багряница, и случилось это под Эрби-ле-Юэтт.

Старик был счастлив, если у него на брюках появлялись пятна от известки и он мог попросить Леонору свести их. Часто он носил под мышкой толстые футляры для чертежей; и она не могла понять, взяты ли они из его архива или же это новые заказы.

Сейчас он прихлебывал кофе, хвалил его, придвигал к Леоноре тарелку с пирожными, посасывал свою сигару. На его лице опять появилось благоговейное выражение.

– Однокашник Роберта? Но ведь я должен знать его. А не зовут ли его Шрелла? Вы уверены? Нет, нет, тот не курил бы таких сигар, что за чепуха. И вы послали его в «Принц Генрих»? Ну и нагорит же вам, Леонора, милочка, уж поверьте. Мой сын Роберт не любит, чтобы ему делали наперекор. Он и мальчишкой был такой же – внимательный, вежливый, разумный, корректный, но только пока не преступали известных границ, тогда он не знал пощады. Он бы не остановился перед убийством. Я всегда его побаивался. Вы тоже? Но, детка, он ведь ничего вам не сделает, не бойтесь, будьте благоразумны. Пойдемте, я хочу, чтобы мы вместе пообедали, давайте хоть скромненько отпразднуем ваше вступление в новую должность и мой юбилей. Не говорите глупостей. Если уж он обругал вас по телефону, значит, гроза миновала. Жаль, что вы не запомнили имени посетителя. А я и не знал, что он встречается со своими школьными товарищами. Ну ничего, ничего, пошли. Сегодня суббота, и он не будет в претензии, если вы закончите работу немного раньше положенного. Ответственность я беру на себя.

Часы на Святом Северине начали бить двенадцать. Леонора быстро пересчитала конверты – их было двадцать три; она сложила их и крепко зажала в руке. Неужели старик просидел у нее всего полчаса? Вот отзвучал десятый удар из положенных двенадцати.

– Нет, спасибо, – сказала она, – я не надену пальто, и, пожалуйста, только не «У льва».

Прошло всего полчаса; типографские машины больше не стучали, но из кабаньей туши все еще сочилась кровь.

2

Для портье это стало привычным ритуалом, почти таким же, как церковный обряд, вошло ему в плоть и кровь: каждое утро, ровно в половине десятого, он снимал с доски ключ и ощущал легкое прикосновение сухой холеной руки, бравшей у него ключ от бильярдной; портье бросал взгляд на строгое, бледное лицо с красным шрамом на переносице, а затем задумчиво, с чуть заметной улыбкой – ее могла бы обнаружить разве что только жена – смотрел вслед Фемелю, который, не обращая внимания на призывный жест лифтера, поднимался по лестнице в бильярдную, слегка постукивая ключом по медным прутьям перил – пять, шесть, семь раз звенели прутья, – казалось, он играет на ксилофоне, воспроизводящем одну-единственную ноту, а через полминуты являлся Гуго, старший из мальчиков-лифтеров, и спрашивал: «Как всегда?» – на что портье кивал головой; он знал: Гуго побежит в ресторан, возьмет двойную порцию коньяка и графин с водой, а потом исчезнет наверху в бильярдной до одиннадцати часов.

Портье чуял недоброе в этом обыкновении играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати утра в присутствии одного и того же мальчика – недоброе или порочное: от пороков существовала защита – тайна; тайна имела свою цену и свои законы; тайна и деньги зависели друг от друга, как абсцисса и ордината; тот, кто брал здесь номер, покупал вместе с тем полную секретность: глаза, которые смотрели, но не видели, уши, которые слушали, но не слышали. Однако от беды не было спасения – он не мог выпроводить за дверь каждого потенциального самоубийцу, ибо все постояльцы были потенциальными самоубийцами; самоубийца мог явиться в отель с семью чемоданами, загорелый, точь-в-точь киноактер, смеясь взять ключ у портье, но как только чемоданы

были сложены в номере и бой уходил, он вытаскивал из кармана пальто заряженный пистолет, заранее снятый с предохранителя, и пускал себе пулю в лоб; или это могла быть дама, казавшаяся выходцем с того света; она являлась, сверкая золотыми зубами, золотыми волосами, золотыми туфлями, скалила зубы, как скелет, дама, слонявшаяся по холлу, словно беспокойный призрак, алчущий удовлетворить свою похоть; эта дама заказывала завтрак к себе в номер на половину одиннадцатого, вешала на ручку двери трафарет «Просьба не беспокоить», а потом сооружала перед дверью баррикаду из чемоданов и глотала капсулу с ядом; задолго до того, как у перепуганных горничных падали из рук подносы с завтраком, в доме шепотом передавали друг другу: «В двенадцатом номере лежит покойница». Шептаться начинали уже ночью, когда засидевшиеся в баре гости прокрадывались к себе в комнаты – им становилось жутко от тишины, царившей за дверью номера 12; некоторые из них умели отличать тишину сна от тишины смерти.

Портье чуял недоброе, когда в тридцать одну минуту десятого Гуго поднимался в бильярдную с двойной порцией коньяка и графином воды.

В это время дня портье с трудом обходился без мальчика: на его конторке появлялось множество рук – рук, требующих счет или забирающих почту; портье ловил себя на том, что сразу после половины десятого он становился невежливым, и надо же, чтобы он как раз обрезал учительницу – восьмую или девятую по счету из тех, кто спрашивал, как пройти к древнеримским детским гробницам; судя по ее обветренному лицу, она родилась в деревне, а судя по перчаткам и пальто, не имела тех доходов, какие естественно было предположить у постояльцев отеля «Принц Генрих»; портье спрашивал себя, каким образом бедная женщина затесалась в толпу этих сумасшедших дур, из коих ни одна не нашла нужным осведомиться о цене номера; хотя, быть может, эта учительница, смущенно теребящая свои перчатки, как раз совершит чудо, за которое Йохен установил премию в десять марок: «Плачу десять марок каждому, кто назовет мне немца, спросившего о цене на что-либо»; нет, эта учительница не принесет ему премии Йохена; портье взял себя в руки и любезно разъяснил ей дорогу к древнеримским детским гробницам.

Большинство требовало как раз этого боя, запертого на полтора часа в бильярдной; все они желали, чтобы именно он отнес их чемоданы в холл, к автобусу авиакомпании, к такси или на вокзал; брюзгливые господа, слоняющиеся по всему свету, которые ожидали сейчас в холле счет и болтали о расписании самолетов, хотели, чтобы именно Гуго подал им лед для виски и

поднес спичку к незажженной сигарете, свисавшей у них изо рта, дабы они могли лишний раз убедиться в его исполнительности; Гуго, и никого другого, желали они поблагодарить небрежным жестом руки; только в присутствии Гуго их лица вздрагивали от тайных конвульсий; у них были нетерпеливые лица, у этих господ, которые с трудом могли дождаться минуты, когда они перенесут свое дурное настроение в отдаленные части света; они были всегда готовы к старту, чтобы, переселяясь в иранский или верхнебаварский отель, так же внимательно, как и здесь, изучать свое лицо в зеркале, определяя, насколько задубилась их кожа от солнца. Женщины визгливыми голосами наперебой требовали принести им забытые вещи: «Гуго, мое кольцо», «Гуго, мою сумочку», «Гуго, мою губную помаду», все они ждали, что Гуго стремглав кинется к лифту, бесшумно взлетит наверх и начнет разыскивать в номере 19, в номере 32 или в номере 46 кольцо, сумочку, губную помаду; а тут еще старухе Муш понадобилось вывести гулять свою шавку, которая к этому времени вылакала все налитое ей молоко, нажралась меду, пренебрегла глазуньей и теперь собиралась отправить собачью нужду у ближайшего киоска, у припаркованной машины или остановившегося трамвая, с тем чтобы попутно оживить свой отмирающий нюх; ведь один только Гуго мог понять сложные душевные потребности собаки; кроме того, бабушка Блезик, которая ежегодно приезжала сюда на месяц повидаться с детьми и внуками, все возраставшими в числе, бабушка Блезик, не успев переступить порог отеля, уже спросила о Гуго: «Он по-прежнему у вас, мальчуган с лицом церковного служки, худенький, бледный, рыжеватенький, у него еще всегда такой серьезный вид?» За завтраком, пока старуха ела мед, пила молоко и не пренебрегала глазуньей, Гуго должен был читать ей местную газету; Блезик закатывала глаза всякий раз, как он произносил названия улиц, знакомые ей еще с детства. «Несчастный случай на Эренфельдгюртель», «Ограбление на Фризенштрассе». «Когда я там каталась на роликах, у меня были вот такие длинные косы, вот досюда, мой мальчик». Старуха была хрупкой, но выносливой – уж не ради ли Гуго она перелетала через огромный океан?

– Что? – спросила она разочарованно. – Гуго освободится только после одиннадцати?

Водитель автобуса, принадлежавшего авиакомпании, уже стоял у вращающейся двери, жестами поторапливая отъезжающих, а в кассе еще только подсчитывали стоимость сложных завтраков; в холле сидел человек, который заказал глазунью из половины яйца, он с возмущением отверг счет, где ему поставили целое яйцо, с еще большим возмущением отверг предложение директора ресторана вовсе изъять из счета пол-яйца; он требовал новый счет, в

котором значилась бы половина яйца.

– Я настаиваю!

Этот тип ездил по свету, как видно, только для того, чтобы предъявлять потом письменные документы, где фигурировала бы глазунья из пол-яйца.

– Да, – говорил портье, – первая улица налево, вторая направо, затем опять третья налево, а потом, сударыня, вы увидите табличку с надписью: «К древнеримским детским гробницам».

Но в конце концов водителю автобуса все же удалось собрать своих пассажиров; в конце концов все учительницы были направлены по верному пути, а все жирные шавки выведены на прогулку. Вот только господин в одиннадцатом номере все еще спал, спал уже шестнадцать часов подряд, повесив на дверь трафарет «Просьба не беспокоить». Беда могла нагрянуть из номера 11 или из бильярдной; привычный ритуал с бильярдом совершался как раз во время идиотской суеты, когда из отеля уезжали постояльцы; портье снимал с доски ключ, на мгновение ощущая прикосновение руки гостя, бросал взгляд на его бледное лицо с красным шрамом на переносице. Гуго спрашивал: «Как всегда?» Портье кивал головой – бильярд с половины десятого до одиннадцати. Но пока еще внутренняя служба информации отеля не донесла ни о чем страшном или порочном. Фемель действительно играл с половины десятого до одиннадцати в бильярд, играл один, без партнеров, тянул маленькими глоточками коньяк, запивая его водой, курил, слушал, что Гуго рассказывал ему о своем детстве, сам рассказывал Гуго о своем детстве; Фемель не возражал даже, если кто-нибудь из горничных или уборщиц по дороге к грузовому лифту останавливался в открытых дверях и смотрел на него; он только улыбался. Нет, нет, он совершенно безобидный.

Йохен, прихрамывая и качая головой, вышел из лифта, держа в поднятой руке письмо. Йохен жил под самой голубятней, рядом со своими пернатыми друзьями, которые приносили ему весточки из Парижа, Рима, Варшавы, Копенгагена; трудно было определить, какую роль играет в отеле Йохен, в своей причудливой ливрее, представляющей нечто среднее между мундиром кронпринца и унтер-офицера; он был отчасти фактотумом, отчасти «серым кардиналом», все ему доверяли, и он был посвящен решительно во все; при этом Йохен не был ни

портье, ни официантом, ни администратором, ни слугой, хотя он и был на все руки мастер и даже в поварском искусстве кое-что смыслил; ему принадлежала крылатая фраза, которую повторяли всякий раз, как возникали сомнения в моральном облике кого-либо из постояльцев: «Если все будут нравственны, нам не к чему хранить тайны; кому нужна секретность, коли нет вещей, которые следует держать в секрете?» Йохен был отчасти духовником, отчасти секретарем по особо важным делам, отчасти сводником. Ухмыляясь, Йохен вскрыл письмо искривленными от ревматизма пальцами.

– Ты мог бы сэкономить свои десять марок, я бы рассказал тебе в тысячу раз больше, чем этот щенок, и притом бесплатно: «Справочное бюро «Аргус». При сем прилагаем затребованную Вами справку о господине докторе Роберте Фемеле, архитекторе, проживающем по Модестгассе, 8. Д-ру Фемелю 42 года, он вдовец, имеет двух детей. Сын 22 лет, архитектор, проживает отдельно. Дочь 19 лет – учащаяся. Д-р Ф. состоятельный человек. Со стороны матери в родстве с Кильбами. Ни в чем предосудительном не замечен».

Йохен захихикал.

– Ни в чем предосудительном не замечен! Как будто молодого Фемеля можно заметить в чем-либо предосудительном. Он один из немногих людей, за которых я, ни минуты не задумываясь, положил бы руку в огонь, слышишь, вот эту старую, продажную, изуродованную ревматизмом руку. Ты можешь спокойно доверить ему мальчика, он не того сорта человек, но, будь он даже того сорта, я не вижу, почему бы не позволить ему все, что позволяют педерастам-министрам, но он не того сорта. Уже в двадцать лет у него родился ребенок от дочери одного нашего коллеги, может, ты его помнишь, его звали Шрелла, и он когда-то проработал здесь в отеле год. Не помнишь? Ну конечно, это было еще до тебя. Так вот, оставь в покое молодого Фемеля, пусть себе играет в бильярд. Он хороших кровей. Действительно хороших. Старой закалки. Я знал его бабушку, дедушку, мать и дядю; пятьдесят лет назад они уже играли здесь в бильярд. Семья Кильб – тебе это, видно, невдомек – живет на Модестгассе уже триста лет, вернее, жила – теперь никого из них не осталось. Его мать спятила – она потеряла двух братьев и троих детей. И не смогла этого перенести. Хорошая была женщина. Из породы тихих, понимаешь? Она не съедала ни крошки сверх того, что выдавалось по карточкам, ни крупиночки, да и детям своим ничего не давала сверх положенного. Сумасшедшая! Все, что ей присылали, она раздавала, а ей много присылали: Фемели владели тогда несколькими усадьбами; кроме того, настоятель аббатства Святого Антония в Киссатале

отправлял ей масло целыми бочонками, мед кувшинами и хлеб буханками, но она ни к чему не притрагивалась сама и не давала ни крошки детям, им приходилось есть хлеб из опилок, намазывая его подкрашенным повидлом, потому что мать все раздавала, даже золотые монеты она раздаривала, я сам видел году в шестнадцатом или семнадцатом, как она вышла из дома с буханками хлеба и кувшином меда. Мед в тысяча девятьсот семнадцатом году! Можешь себе представить? Но где уж вам это помнить, вы никогда не поймете, что значил мед в тысяча девятьсот семнадцатом и зимой сорок первого – сорок второго годов! А как она бежала на товарную станцию и требовала, чтобы ей разрешили уехать вместе с евреями. Сумасшедшая! Ее засадили в сумасшедший дом, но я не верю, что она сумасшедшая. Таких женщин можно увидеть разве только в музеях на старинных картинах. Ради ее сына я дам себя четвертовать; и если здесь, в этой лавочке, перед ним не будут ходить на задних лапках, я устрою грандиозный скандал, пускай хоть целая сотня старых баб спрашивает Гуго, – раз Фемель хочет держать его при себе, пусть держит. Справочное бюро «Аргус»! Идиоты! Не к чему было выбрасывать десять марок! Ты еще, пожалуй, скажешь, что не знаешь его отца, старика Фемеля. Да? Ну так поздравляю, ты его знаешь, но тебе и в голову не приходило, что он-то и есть отец того клиента, который играет наверху в бильярд. Ну да, старика Фемеля знает каждый ребенок. Пятьдесят лет назад он приехал сюда в перелицованном костюме своего дяди с несколькими золотыми в кармане; он уже тогда играл в бильярд здесь, в отеле «Принц Генрих», тогда, когда ты еще понятия не имел, что такое отель. Ну и портье сейчас пошли! Оставь его в покое. Он не наделает глупостей и не причинит никому вреда, разве что спятит с ума – тихо и незаметно. Он был лучшим игроком в лапту и лучшим бегуном на сто метров в нашем городе за всю его историю; ведь он упрямый, и если уж что заберет себе в голову – его не переспоришь; он не выносил несправедливости, а кто не выносит несправедливости, тот обязательно впутается в политику, вот он и впутался уже в девятнадцать лет; ему бы наверняка отрубили голову или запрятали лет на двадцать в тюрьму, если бы он не удрал. Да-да, не смотри на меня так, он убежал и года три-четыре пробыл за границей; не знаю точно, в чем тут было дело, – мне этого так и не удалось выяснить, знаю только, что в той истории был замешан старый Шрелла и его дочь, которая родила потом Фемелю ребенка; ну а когда он вернулся, его больше не тронули, он пошел в армию рядовым в мундире с черными кантами. Что ты вылупил глаза? Был ли он коммунистом? Не знаю, но пусть даже так, каждый порядочный человек когда-нибудь сочувствовал коммунистам. Ну а теперь ступай завтракать, с этими старыми дурами я сам управлюсь.

Беда или порок – что-то носилось в воздухе, но Йохен был слишком простодушен, он никогда не чуял самоубийства и не верил, что случилось несчастье, даже если перепуганным постояльцам удавалось отличить сквозь запертые двери номера тишину смерти от тишины сна; он разыгрывал из себя этакую продажную шельму, тертого старикашку, но в людей все же верил.

– Как хочешь, – сказал портье, – я пойду завтракать. Только не пускай к нему никого, он придает этому большое значение. Вот. – И он положил на конторку перед Йохеном красную карточку: «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

Шрелла? – испуганно подумал Йохен. Разве он еще жив? Ведь его тогда убили… а может, у него был сын?

Этот аромат свел на нет все остальные запахи, все, что люди выкурили здесь за последние две недели, этот аромат можно было нести перед собой наподобие знамени: вот я иду, видная персона, победитель, перед которым ничто не может устоять, рост – метр восемьдесят девять, седой, сорока с лишним лет, костюм из сукна особого, «правительственного» качества – коммерсанты, промышленники и художники такого не носят. Йохен сразу оценил сановную элегантность посетителя – то был министр или посланник, чья подпись имела почти что силу закона, этот человек беспрепятственно проникал сквозь обитые войлоком, стальные и железные двери приемных, проходил повсюду, пробивая себе дорогу плечами, словно тараном, излучая вежливость и любезность, в которой чувствовалось что-то заученное; на сей раз он пропустил вперед бабушку, только что забравшую своего отвратительного пса из рук Эриха – второго боя, помог даме-скелету, которая казалась выходцем с того света, подойти к лестнице и схватиться за перила, пробормотав: «Не стоит благодарности, сударыня».

– Неттлингер.

– Чем могу служить, господин доктор?

– Мне нужно видеть доктора Фемеля. Срочно. Немедленно. По служебным делам.

Играя красной карточкой, Йохен качнул головой и вежливо отказал. «Мать, отца, сына, дочь, Шреллу». Неттлингера он видеть не желает.

– Но мне известно, что он здесь.

Неттлингер? Когда-то я слышал это имя. Да и лицо его напоминает мне что-то, что я поклялся не забывать! Это имя я слышал много лет назад и сказал себе: «Йохен, запомни его, возьми его на заметку», – но теперь я не знаю, что хотел запомнить. Во всяком случае, будь начеку. Тебя бы наверняка стошнило, если бы ты узнал, что он успел натворить на своем веку, тебя бы рвало до самой твоей кончины, если бы ты увидел тот фильм, который покажут ему в день Страшного суда, – фильм о его жизни; он из тех молодчиков, которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать волосы у детей.

Беда или порок? Нет, в воздухе запахло убийством.

Эти люди понятия не имеют, как и когда давать чаевые, по чаевым легче всего определить человека; сейчас, пожалуй, уместно было бы предложить сигару, но, во всяком случае, не деньги, а тем более такие крупные, как зеленая кредитка в двадцать марок, которую этот господин, ухмыляясь, положил на конторку перед Йохеном. Что за олухи – они не знают простейших законов обхождения с людьми, не знают азбучных истин обращения с портье; как будто в «Принце Генрихе» оптом и в розницу продаются чужие секреты, как будто постояльца, который платит сорок – шестьдесят марок в сутки, можно купить за зеленую двадцатимарковую бумажку, за двадцать марок, предложенных совершенно незнакомым человеком, чье единственное удостоверение личности – дорогая сигара и костюм из добротного сукна. Подумать только, что такой тип становится министром или дипломатом, хотя не знает азов сложнейшей из всех наук – науки подкупа. Йохен огорченно покачал головой и не притронулся к зеленой бумажке. «И правая их рука полна подношений».

Трудно поверить, но к зеленой бумажке прибавилась синяя; предложенная сумма дошла до тридцати марок, и в лицо Йохену дохнули густым облаком дыма «Партагас эминентес».

Ну что ж, дыши на меня, дыши мне в лицо своей четырехмарковой сигарой, можешь даже прибавить еще кредитку – лиловую. Йохена нельзя купить ни за какие деньги, а тебе уж подавно; не многих любил я в своей жизни, но молодой

Фемель мне по душе. Тебе не повезло, ты, конечно, важный господин, твоя подпись немало значит, но ты опоздал на полторы минуты. Тебе бы надо почуять, что деньги совершенно неуместны, когда дело касается меня. У меня, если хочешь знать, в кармане договор, заверенный нотариусом, и по этому договору моя каморка под крышей принадлежит мне пожизненно, к тому же я имею право держать голубей; на завтрак и на обед я могу выбрать себе чего моя душа пожелает, кроме того, я ежемесячно получаю полтораста марок чистоганом, прямо в руки; эта сумма в три раза больше той, что мне требуется на табачок; у меня есть друзья в Копенгагене и Париже, в Варшаве и Риме; если бы ты только знал, как стоят друг за друга голубятники; но ты ничего не знаешь, хотя и вообразил, будто за деньги можно добиться всего; эту философию вы внушаете самим себе и, разумеется, портье в отелях; за деньги портье готовы на все, они продадут тебе родную бабушку за лиловый полусотенный билет. Но я сам себе хозяин, друг мой, с одним-единственным ограничением – здесь внизу, когда я заменяю портье, мне запрещено курить мою трубочку; сегодня я в первый раз жалею об этом, ведь я мог бы выпустить навстречу дыму твоей «Партагас эминентес» дым из моей трубки, набитой черным табаком. Говоря ясно и недвусмысленно – можешь поцеловать меня в…

Фемеля я тебе все равно не продам. Пусть спокойно играет себе с половины десятого до одиннадцати в бильярд, хотя я лично нашел бы для него более подходящее занятие, а именно – сидеть на твоем месте в министерстве. Или же делать то, что он делал в юности: бросать бомбы, чтобы у таких мерзавцев, как ты, земля горела под ногами. Но если он хочет играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати, пожалуйста, пусть себе играет, на то я здесь и поставлен, чтобы никто не мешал ему, это моя обязанность. А теперь можешь забрать свои деньги и идти, проваливай, а если положишь еще бумажку, пеняй на себя. Мне приходилось глотать бестактности и с терпеливым видом сносить человеческую глупость; в эту книгу я записывал нарушителей супружеской верности и эротоманов, не раз отшивал я обезумевших жен и рогоносцев, но, пожалуйста, не думай, что я был создан для такой участи. Я всегда был порядочным малым и, конечно, прислуживал во время мессы так же, как и ты, а в певческом ферейне распевал песни во славу отца Колпинга и святого Алоизия. К двадцати годам я уже шесть лет прослужил в этом заведении. И если я не потерял веру в человеческий род, то лишь потому, что на свете есть несколько таких людей, как молодой Фемель и его мать. Забирай свои деньги, вынь изо рта сигару и поклонись мне повежливей, ведь я уже старый человек и видел на своем веку столько пороков, сколько тебе и во сне не снилось; пусть бой подержит тебе вращающуюся дверь, и убирайся.

– Я не ослышался? Ты хочешь поговорить с директором?

Тут посетитель побагровел, а потом посинел от злости…

– Черт побери! Неужели я опять подумал вслух и, возможно, даже обратился к тебе на «ты»: разумеется, это никуда не годится, я совершил непростительную ошибку, потому что с такими людьми, как вы, я на «ты» не бываю.

Как я смею? Что же, я старик, мне уже под семьдесят, и я, бывает, заговариваюсь, у меня небольшой склероз, я малость впал в детство и нахожусь поэтому под защитой пятьдесят первого параграфа, а здесь я живу из милости.

Армия и вооружение?.. Этого еще не хватало.

– К директору, пожалуйста, налево, за угол, вторая дверь направо; книга жалоб – в сафьяновом переплете.

А если ты закажешь себе глазунью и если твой заказ придет на кухню, когда я буду там, я сочту за особую честь лично плюнуть на сковородку. Ты получишь мое объяснение в любви, так сказать «о натюрель», смешанное с растаявшим маслом. Не стоит благодарности, милостивый государь!

– Я ведь уже сказал вам, сударь. Сюда за угол налево, потом вторая дверь направо, там дирекция. Книга жалоб – в сафьяновом переплете. Вы хотите, чтобы о вас доложили? С удовольствием. Коммутатор. Господина директора вызывает портье. Господин директор, здесь господин… Как ваша фамилия? Неттлингер, и прошу прощения, доктор Неттлингер хотел бы срочно поговорить с вами. По какому делу? Жалоба на меня. Да, спасибо. Господин директор ожидает вас… Да, сударыня, сегодня вечером фейерверк и парад, первая улица налево, потом вторая направо, затем опять третья налево, и вы увидите стрелку с надписью: «К древнеримским детским гробницам». Не стоит благодарности. Большое спасибо.

Не следует отказываться от марки, если получаешь ее из рук такой старой честной учительницы. Да-да, погляди, с какой милой улыбкой я беру маленькие чаевые, отказываясь от больших. Древнеримские детские гробницы – дело чистое. Лептой вдовицы здесь не пренебрегают. Ведь чаевые – душа нашей профессии.

– Да, за угол, совершенно верно.

Парочка еще не успеет выйти из такси, а я уже могу сказать, нарушают они супружескую верность или нет. Я чую такие вещи на расстоянии, различаю самые, казалось бы, немыслимые случаи. Среди любовников встречаются робкие, на их лицах все так ясно написано, что хочется сказать им: «Ничего страшного, детки, такие вещи случались и раньше, я пятьдесят лет служу в отелях, на меня вы можете положиться. Пятьдесят девять марок восемьдесят пфеннигов за двойной номер, включая чаевые; за эти деньги вы имеете право требовать известного снисхождения, но, даже если вам не терпится, не начинайте по возможности обниматься в лифте. В «Принце Генрихе» любят за двойными дверями… Не робейте, господа, не бойтесь; если бы вы знали, кто только не удовлетворял здесь свои сексуальные потребности! В этих комнатах, освященных высокими ценами, побывали верующие и неверующие, злые и добрые. Двойной номер с ванной и бутылка шампанского в номер. Сигареты. Завтрак в половине одиннадцатого. Очень хорошо. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь, – будем надеяться, что ты не так глуп и не назовешь свое настоящее имя. Эти записи действительно идут в полицию, там на них ставят печать, и они становятся документом, который может служить уликой. Смотри не доверяй властям, мой мальчик, они не хранят чужих тайн. Чем больше тайн они узнают, тем больше им нужно. А если ты к тому же был коммунистом, тогда остерегайся вдвойне. Я был им когда-то, и католиком тоже был. Полностью это не выветривается. До сих пор я не позволяю себе ничего в отношении некоторых людей, и никто не смеет в моем присутствии отпустить глупую шутку насчет Девы Марии или обругать отца Колпинга: таким молодчикам не поздоровится».

– Бой, отведи господ в номер сорок два. К лифту в ту сторону, сударь!

Ага, вас-то я и ждал, голубчики, любовники из породы нахальных; эти ничего не скрывают и хотят показать всему свету, что им сам черт не брат. Но, если вам нечего скрывать, зачем же вы напускаете на себя такой нахальный вид и изо всех сил стараетесь показать, что вам нечего скрывать? Если вам действительно нечего скрывать, то вы и не должны ничего скрывать. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь. С этой дурищей я лично не хотел бы иметь ничего такого, что надобно скрывать. Нет, нет. С любовью дело обстоит так же, как с

чаевыми. Здесь главное интуиция. По женщине сразу видно, стоит с ней что-нибудь скрывать или нет. С этой не стоит. Можешь мне поверить, парень. Шестьдесят марок за ночевку в отеле плюс шампанское в номер плюс чаевые и завтрак, да еще деньги на подарки – нет, не стоит! От порядочной, уважающей себя шлюхи, которая знает свое ремесло, ты все же хоть кое-что получишь.

– Бой, господа взяли комнату сорок три. О боже, до чего люди глупы!

– Да, господин директор, я сейчас приду, слушаюсь, господин директор.

Конечно, такие, как ты, словно нарочно созданы быть директорами отелей; они похожи на женщин, которым удалили определенные органы; для этих женщин уже нет проблем, но любви без проблем не бывает! Все равно как если бы человек удалил себе совесть. Из него не вышло бы даже циника. Человек без огорчений – это уже не человек. Когда-то ты был не директором, а боем, и я тебя учил, четыре года я муштровал тебя, а потом ты повидал свет: посещал всякие школы, изучал языки, а затем наблюдал в офицерских казино – несоюзников и союзников – варварские забавы пьяных победителей и побежденных, после чего ты незамедлительно вернулся к нам в отель, и первый вопрос, который ты задал, приехав сюда гладким, жирным и бессовестным, был: «Старик Йохен еще здесь?» Да, я еще здесь, все еще здесь, мой мальчик.

– Вы оскорбили этого господина, Кульгамме.

– Не намеренно, господин директор, собственно говоря, это нельзя считать оскорблением. Я мог бы назвать сотни людей, которые сочтут за честь быть со мной на «ты».

Верх наглости. Неслыханно!

– У меня это просто вырвалось, господин доктор Неттлингер. Я старик и нахожусь до некоторой степени под защитой параграфа пятьдесят первого.

– Господин Неттлингер требует удовлетворения.

– И притом безотлагательно. С вашего разрешения, я не считаю за честь быть на «ты» с гостиничными портье.

– Попросите у господина доктора извинения.

– Прошу извинения у господина доктора.

– Не таким тоном.

– А каким же тоном? Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Вот вам все три тона, на какие я только способен, а вы уж, пожалуйста, выберите себе тот, какой вас больше устраивает. Я, видите ли, не боюсь унижений. Я готов встать на колени перед вами, вот на этот ковер, и бить себя в грудь кулаками; но я – старик и тоже хочу, чтобы передо мной извинились. Здесь была предпринята попытка подкупа, господин директор. На карте стояла репутация нашей старинной, всеми уважаемой фирмы. Профессиональную тайну хотели купить за тридцать паршивых марок. Я считаю, что была затронута и моя честь, и честь фирмы, которой я служу вот уже больше пятидесяти лет, точнее говоря, пятьдесят шесть лет.

– Прошу вас прекратить эту неприятную и смешную сцену.

– Сейчас же проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

– Нет.

– Вы сейчас же проводите этого господина в бильярдную.

– Нет.

– Будет крайне прискорбно, Кульгамме, если стародавние отношения, связывающие вас с этой фирмой, прервутся из-за отказа выполнить простое приказание.

– В этом доме, господин директор, еще ни разу не пренебрегли желанием гостя не беспокоить его. Исключая, конечно, те случаи, когда в дело вмешивалась высшая власть, то есть тайная полиция. Тогда мы были бессильны.

– Рассматривайте мой случай как случай вмешательства высшей власти.

– Вы из гестапо?

– На такие вопросы я не отвечаю.

– А теперь проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

– Вы, господин директор, первый, кто хочет запятнать репутацию нашего отеля!

– Я сам провожу вас в бильярдную, господин доктор.

– Только через мой труп, господин директор!

Надо быть таким продажным, как я, и таким старым, как я, чтобы знать: есть вещи, которые не продаются; порок перестает быть пороком, если нет добродетели, и ты никогда не поймешь, что такое добродетель, если не будешь знать, что даже шлюхи отказывают некоторым клиентам. Но мне пора усвоить, что ты свинья. Неделями я натаскивал тебя наверху в моей комнате, учил, как незаметно брать чаевые – медью, серебром, бумажками, – это тоже искусство, незаметно принимать деньги, ибо чаевые – душа нашей профессии. Да, когда-то я тебя натаскивал (заниматься с тобой было адски трудно), но ты и тогда уже пытался меня надуть, врал, что для занятий у нас было всего три монеты по одной марке, хотя их было четыре, одну монету ты хотел утаить. Ты всегда был свиньей, никогда не понимал, что существуют вещи, которых «не делают», а теперь ты снова делаешь то, чего «не делают». За это время ты научился принимать чаевые и согласен взять даже меньше тридцати сребреников.

– Сейчас же вернитесь в холл, Кульгамме, этим господином я сам займусь. Отойдите, я вас предупреждаю.

Только через мой труп, а ведь уже без десяти одиннадцать; через десять минут он все равно спустится вниз. Если бы вы немножко соображали, этой комедии можно было бы избежать, но пусть осталось всего десять минут – только через мой труп. Вы никогда не знали, что такое честь, потому что не знали, что такое бесчестье. Вот я перед вами – Йохен, здешний фактотум, продажный старик, прошедший сквозь огонь и воду, но вы попадете в бильярдную только через мой труп.

3

Он уже давно просто гонял шары; отказавшись от правил, отказавшись от счета, он толкал шар то чуть заметно, то резко, казалось, без всякого смысла и цели; каждый раз, как шар ударялся о два других шара, из зеленого небытия возникала новая геометрическая фигура; это напоминало звездное небо, на котором несколько точек находятся в движении; он прочерчивал в небе орбиты комет – белые по зеленому полю, красные по зеленому полю, следы появлялись, а потом вновь исчезали, тихие шорохи извещали о возникновении новых фигур; если шар, который он толкал, ударялся о борта или о другие шары, шорохи слышались раз пять или шесть; в этом монотонном шуме можно было различить и отдельные звуки – глухие или звонкие; ломаные линии, по которым двигались шары, зависели от величины углов, подчинялись законам геометрии и физики; энергия, которую он посредством кия сообщал шару, и незначительная энергия трения – все это поддавалось вычислению, все это было запечатлено в его мозгу и благодаря определенным движениям запечатлевалось потом в геометрических фигурах, но фигуры не были застывшими и прочными, все было мимолетным и все снова исчезало, как только шар приходил в движение; иногда Фемель в течение получаса играл одним шаром; белый шар, как единственная звезда в небе, катился по зеленому полю, он катился легко и тихо, то была музыка без мелодии, живопись без образов, почти без цвета, одна только голая формула.

Бледный мальчик стоял в стороне, прислонясь к белой блестящей двери; руки он держал за спиной, ноги заложил одна за другую; он был в лиловой ливрее отеля «Принц Генрих».

– Вы мне сегодня ничего не расскажете, господин доктор?

Фемель оторвал взгляд от бильярда, отложил кий, взял сигарету, закурил, посмотрел на улицу, на которую падала тень церкви Святого Северина. Подмастерья, грузовики, монахини – улица жила своей жизнью; серый осенний свет, отражаясь от лиловых плюшевых портьер, казался почти серебристым; фигуры запоздалых гостей, завтракавших в ресторане отеля, были обрамлены портьерами; при этом освещении все выглядело порочным, даже яйца всмятку, а простодушные лица почтенных матрон казались лицами развратных женщин; кельнеры во фраках, в чьих глазах светилась готовность ко всему, напоминали вельзевулов – личных посланцев Асмодея. А ведь они были всего-навсего безобидными членами профсоюза, усердно изучавшими после работы

передовицы в своей профсоюзной газетке; казалось, они скрывали лошадиные копыта в искусно сконструированной ортопедической обуви; разве на их белых, красных и желтых лбах не росли маленькие элегантные рожки? Сахар в позолоченных сахарницах не походил на сахар; здесь случались всевозможные превращения: вино не было вином, хлеб не был хлебом; в этом свете все становилось составной частью таинственных пороков; здесь священнодействовали, но имя божества нельзя было произносить вслух.

– Что же тебе рассказать, дитя мое?

Память его никогда не удерживала слова и образы, он помнил только движения. Отец… он знал его походку, затейливую кривую, которую при каждом шаге описывала его правая штанина с такой быстротой, что, когда отец утром проходил мимо лавки Греца, направляясь в кафе «Кронер», чтобы там позавтракать, темно-синяя подшивка брюк мелькала всего лишь на секунду. Мать… он помнил замысловатый и смиренный жест, каким она складывала руки на груди, перед тем как изречь очередную избитую истину: «Сколько зла в мире» или «Как мало чистых душ на свете»; руки матери, казалось, выписывали эти слова в воздухе, прежде чем она произносила их вслух. Отто… он слышал его четкие шаги, когда тот проходил по коридору и спускался на улицу: «враг, враг» – башмаки Отто выстукивали это слово на каменных плитах лестницы, хотя много лет назад они выстукивали совсем другое слово: «брат, брат». Бабушка… он вспоминал движение, которое она делала целых семьдесят лет, он и теперь видел его много раз на дню, так как его повторяла Рут; это извечное движение, передавшееся по наследству, каждый раз пугало Фемеля; его дочь Рут никогда не видела своей прабабушки, откуда у нее этот жест? Ничего не подозревая, она откидывала волосы со лба так же, как ее прабабушка.

Он видел и себя самого – как он нагибался над грудой бит для игры в лапту, чтобы найти свою; вспоминал, как он перекатывал мяч в левой руке до тех пор, пока мяч наконец не ложился удобно, чтобы в решающий момент его можно было подбросить вверх на точно рассчитанную высоту; мяч падал вниз ровно столько времени, сколько надо было, чтобы и второй рукой схватить деревянную биту, размахнуться и изо всех сил ударить по мячу; тогда мяч залетал далеко за черту.

Он помнил себя на лужайке, на берегу реки, в парке, в саду, помнил, как он стоит, наклоняется, а потом, выпрямившись, ударяет по мячу. Все зависело от расчета; это дурачье и не подозревало, что время падения мяча можно

вычислить, что с помощью того же секундомера можно определить, сколько секунд требуется, чтобы перехватить биту обеими руками, и что все остальное – лишь вопрос координации движений и тренировки; каждый день под вечер он тренировался на лужайке, в парке, в саду; они не подозревали, что существуют формулы, которые можно применить к удару, и весы, на которых можно взвешивать мячи. Для этого требовалось всего лишь минимальное знание физики и математики, а также тренировка, но они презирали науки, от которых все зависело, презирали и тренировку; они предпочитали жульничество во всем. Они проделывали разные трюки с растяжимыми и к тому же лживыми сентенциями и читали всякую дрянь, в то время как Гёльдерлин был для них китайской грамотой; даже такое простое слово, как «лот», теряло в их устах всякий смысл, а ведь лот – это воплощение ясности: веревка и кусок свинца; его бросают в воду и, почувствовав, что свинец достиг дна, вытаскивают наверх; лотом измеряют глубину воды; но когда они говорили «измерить лотом», это только раздражало; они не умели ни играть в лапту, ни читать Гёльдерлина: «И, сострадая, сердце Всевышнего твердым останется».

Они толпились возле него, чтобы помешать ему ударить, и кричали: «Давай, Фемель, бей, давай!» – а другая группа игроков в это время беспокойно металась на том конце поля, двое были уже далеко за чертой, где обычно падали мячи, мячи Роберта, которых все боялись; большей частью они падали на шоссе, где как раз тогда, в эту субботу, летом 1935 года, взмыленные гнедые лошади выезжали из ворот пивоварни; позади тянулась железнодорожная насыпь, маневровый паровозик выбрасывал в небо невинно-белые барашки дыма; направо у моста, ведущего к верфи, шипели газосварочные аппараты – рабочие в сверхурочные часы сваривали пароход «Сила через радость», – вспыхивали голубовато-серебристые искры, и клепальные молотки отбивали такт; на крошечных огородных участках новехонькие пугала тщетно угрожали воробьям; бледные пенсионеры с потухшими трубками томились в ожидании первого числа, когда им давали пенсию; воспоминание о движениях, которые Роберт тогда делал, – только оно одно пробудило в его памяти картины, слова и краски; и эта фраза «Давай, Фемель, давай!» всплыла в его сознании, когда он вспомнил свои движения. Вот мяч уже там, где ему полагалось лежать, Роберт только слегка удерживал его пальцами и мякотью ладони; сопротивление, которое придется преодолеть мячу, будет наименьшим, он уже держит свою биту, самую длинную из всех (ведь никого не интересовали законы рычагов), биту, обмотанную сверху лейкопластырем. Фемель бросил быстрый взгляд на ручные часы; до завершающего свистка учителя гимнастики оставалось всего три минуты и тридцать секунд, а Фемель так и не решил для себя вопрос, почему команда чужой гимназии, Принца Отто, не возражала против назначения их

учителя гимнастики судьей в финальной игре. Учителя звали Бернхард Вакера, но школьники прозвали его Бен Уэкс; это был довольно тучный меланхолик, говорили, что он питает к мальчикам платоническую любовь; Вакера обожал пирожные со сбитыми сливками и слащавые сентиментальные фильмы, в которых сильные белокурые юноши переплывали реки, а потом лежали на полянах, держа во рту травинку, и глядели в голубое небо, жаждая приключений; этот Бен Уэкс больше всего любил копию головы Антиноя, которая стояла у него дома среди фикусов и полок, забитых руководствами по гимнастике; он ласкал эту голову, делая вид, будто стирает с нее пыль; Бен Уэкс называл своих любимцев «мальчишечками», а остальных «сорванцами».

– Ну давай, сорванец, – сказал Бен Уэкс, пыхтя, живот у него колыхался, во рту он держал судейский свисток.

Но до конца игры все еще оставалось три минуты и три секунды – тринадцать лишних секунд. Если он бросит мяч сейчас, следующему игроку тоже удастся бросить мяч, и Шрелла, который там у черты ждет избавления, должен будет еще раз побежать, а игроки еще раз изо всей силы кинут мяч ему прямо в лицо или в ноги, метя в поясницу; трижды Роберт наблюдал, как это делается: кто-нибудь из чужой команды попадал мячом в Шреллу, потом Неттлингер, игравший в одной команде с ним и со Шреллой, перехватывал мяч и бросал его в кого-нибудь из противников, то есть попросту кидал ему мяч, и тот опять попадал в Шреллу, который корчился от боли, а потом Неттлингер опять перехватывал мяч и просто-напросто перебрасывал его игроку команды противника, и тот бросал мяч в лицо Шрелле, а Бен Уэкс стоял тут же и свистел – свистел, когда они попадали в Шреллу, свистел, когда Неттлингер просто перебрасывал мяч противнику, свистел, когда Шрелла, прихрамывая, пытался отбежать подальше; все шло с головокружительной быстротой, мячи летали взад и вперед; неужели только он один видел все это? Неужели положения Шреллы не замечал никто из многочисленных зрителей с пестрыми флажками в петлицах и в пестрых шапочках, которые в лихорадочном возбуждении ждали окончания игры? За две минуты пятьдесят секунд до конца счет был 34:29 в пользу гимназии Принца Отто; может, то, что видел он один, как раз и было причиной, почему противники согласились назначить Бена Уэкса, их учителя гимнастики, своим судьей.

– Ну а теперь быстрей, малый, через две минуты я дам свисток!

– Прошу прощения, через две минуты пятьдесят секунд, – ответил Роберт, высоко подбросил мяч, молниеносно перехватил биту обеими руками и ударил; по силе удара и по отдаче дерева, отбросившего мяч, он почувствовал, что это снова был один из его легендарных ударов; прищурившись, он пытался проследить глазами за мячом, но не мог его обнаружить; потом он услышал «ах», вырвавшееся из глоток зрителей, громовое «ах», расползавшееся подобно облаку, становившееся все громче; он увидел, как Шрелла, прихрамывая, подошел ближе; Шрелла шел медленно, на лице у него выделялись желтые пятна, около носа виднелась кровавая полоска; пока помощники судьи отсчитывали: «…семь, восемь, девять», остаток их команды издевательски медленно прошествовал мимо рассвирепевшего Бена Уэкса; игра была выиграна, выиграна с убедительным счетом, хотя Роберт забыл побежать и выиграть десятое очко; «оттонцы» все еще искали мяч – они ползали далеко за дорогой в траве вдоль стены пивоварни; в заключительном свистке Бена Уэкса явственно прозвучала досада. «Счет 38:34 в пользу гимназии Людвига», – объявил помощник судьи. «Ах» перешло в громкое «ура», прокатилось по всему полю, а в это время Роберт взял свою биту и воткнул ее нижним концом в траву, немного приподнял, снова опустил и, найдя, как ему казалось, правильный угол, наступил ногой на самую хрупкую часть биты, туда, где у ручки она утончалась; восхищенные гимназисты окружили Фемеля, все замолкли, охваченные волнением; они чувствовали, что здесь свершается чудо – Фемель ломает свою знаменитую биту; древесина на месте перелома казалась мертвенно-белой; гимназисты уже завязали драку, они ожесточенно бились за каждую щепку, как за реликвию, вырывали друг у друга обрывки лейкопластыря; Фемель с испугом смотрел на их разгоряченные, поглупевшие лица, на горящие возбуждением и восторгом глаза; здесь в этот летний вечер 14 июля 1935 года он ощутил горечь дешевой славы – в субботу на окраине города, на вытоптанной лужайке, по которой Бен Уэкс в эту минуту гонял первоклассников гимназии Людвига, чтобы они собрали флажки, воткнутые по углам. Далеко за дорогой у стены пивоварни все еще виднелись сине-желтые майки, «оттонцы» искали мяч; но вот они робкими шагами перешли шоссе, собрались посреди поля, построились в одну шеренгу в ожидании его, капитана команды гимназии Людвига, который должен был прокричать «гип-гип ура»; он медленно подошел к обеим шеренгам – Шрелла и Неттлингер стояли рядом, словно ничего не произошло, решительно ничего, а тем временем младшие гимназисты дрались за щепки от его биты; Фемель сделал еще несколько шагов; восхищение зрителей он ощущал физически как нечто тошнотворное; он три раза прокричал «гип-гип ура»; «оттонцы», словно побитые собаки, опять побрели искать мяч; не найти мяч считалось несмываемым позором.

– А ведь я знал, Гуго, что Неттлингеру очень хотелось победить! «Любой ценой добиться победы», – говорил он, и сам же поставил на карту нашу победу, лишь бы противники имели возможность все время бить в Шреллу, да и Бен Уэкс был с ними заодно; я понял это, единственный из всех.

Подходя к раздевалке, Роберт уже заранее боялся Шреллы и того, что он скажет. Вдруг стало заметно прохладнее, ползучий вечерний туман подымался с лугов, шел от реки, как бы обволакивая слоями ваты дом, где помещалась раздевалка. Почему, почему они так обращались со Шреллой? Подставляли ему ножку, когда на перемене он спускался по лестнице, и Шрелла ударялся головой о стальные края ступенек, а металлическая дужка очков впивалась ему в мочку уха; Уэкс тогда с большим опозданием появлялся из учительской, держа в руках аптечку, а Неттлингер с презрительной миной брал лейкопластырь, и Уэкс, туго натянув, отрезал от него кусок. Они нападали на Шреллу, когда тот шел домой, затаскивали его в подъезды, избивали около мусорных ведер и поломанных детских колясок, спихивали вниз с темных лестниц, ведущих в подвалы, и однажды он долго пролежал там со сломанной рукой; он лежал на лестнице, где валялись пыльные консервные банки и пахло углем и прорастающим картофелем, до тех пор, пока мальчик, которого послали за яблоками, подняв тревогу, не переполошил жильцов. Только несколько человек не участвовали в этой травле: Эндерс, Дришка, Швойгель и Хольтен.

Когда-то давно он дружил со Шреллой; они ходили вместе в гости к Тришлеру, жившему в Нижней гавани: отец Шреллы служил кельнером в пивной у отца Тришлера; они играли на старых баржах, на заброшенных понтонах и удили с лодки рыбу.

Он остановился перед раздевалкой и услышал возбужденные голоса, все говорили разом, хрипло, охваченные миротворческим волнением, они обсуждали легендарный полет мяча; можно было подумать, что мяч исчез в надзвездных сферах.

– Я ведь видел, как он летел, словно камень, пущенный из пращи великана.

– Я видел его – мяч, который забил Роберт.

– Я слышал, как он летел – мяч, который забил Роберт.

– Им его не найти – мяч, который забил Роберт.

Когда он вошел, они замолчали; во внезапно наступившей тишине чувствовался благоговейный страх перед тем, что он совершил, перед тем, чему никто не поверит, перед тем, что никому невозможно рассказать; кто, в самом деле, возьмется засвидетельствовать это чудо – описать полет мяча Роберта?

Они побежали босиком в душевые кабинки, перекинув через плечо мохнатые полотенца; только Шрелла не пошел с ними, он оделся, так и не приняв душа, и лишь сейчас Роберт вспомнил, что Шрелла никогда не принимал душа после игры. Он никогда не снимал майки; сейчас он сидел на скамейке, и фонари у него под глазами отливали желтым и синим; над губой, там, где он стер кровавую полоску, еще не совсем просохло; кожа на предплечье посинела от ударов мяча, того самого, который «оттонцы» все еще искали; Шрелла опустил рукава своей застиранной рубашки, потом надел куртку, вынул из кармана книгу и прочел вслух: «Когда колокола под вечер возвещают мир».

Было мучительно сидеть вдвоем со Шреллой и читать благодарность в его бесстрастных глазах, слишком бесстрастных, чтобы ненавидеть; он поблагодарил своего спасителя, забившего последний мяч, лишь чуть заметным движением ресниц и мимолетной улыбкой; и Фемель так же мимолетно усмехнулся в ответ, затем повернул голову к металлической вешалке, разыскал свою одежду, решив поскорее исчезнуть, не моясь под душем; над его вешалкой кто-то уже успел нацарапать на оштукатуренной стене: «Мяч Фемеля, 14 июля 1935 года».

Пахло кожаными гимнастическими снарядами и сухой землей, которая осыпалась с футбольных и волейбольных мячей и с мячей для игры в лапту, а потом забивалась в трещины бетонного пола; в углах стояли грязные зелено-белые флажки, рядом с расщепленным веслом были развешены для просушки футбольные сетки, на стене висел пожелтевший от времени диплом за треснувшей стеклянной витриной: «Зачинателям футбольного спорта, старшеклассникам гимназии Людвига, 1903 год. Председатель окружного спортивного общества». Групповой фотоснимок был обрамлен лавровым венком; на Фемеля взирали мускулистые восемнадцатилетние юноши рождения 1885 года, усатые, с животным оптимизмом глядевшие в будущее, которое уготовила им судьба: истлеть под Верденом, истечь кровью в болотах Соммы или же, покоясь на Кладбище героев у Шато-Тьерри, побудить пятьдесят лет спустя

туристов, направляющихся в Париж, занести в попорченную дождем книгу примирительные сентенции, продиктованные торжественностью минуты; в раздевалке пахло железом, пахло ранней возмужалостью, с улицы проникал сырой туман, поднимавшийся легкими облаками с прибрежных лугов; из трактира наверху доносились низкие голоса мужчин, подгулявших в этот субботний вечер, хихиканье кельнерш, звон пивных кружек, а в конце коридора игроки в кегли уже принялись за работу – они бросали шары, и кегли летели кувырком; торжествующие или разочарованные выкрики партнеров неслись по всему коридору, вплоть до раздевалки.

Щурясь, несмотря на тусклое освещение, и зябко подняв плечи, Шрелла притулился у стены. Фемель не мог больше оттягивать разговор; он еще раз проверил, хорошо ли завязан галстук, разгладил последнюю складочку на воротнике своей спортивной рубашки – он был аккуратен, неизменно аккуратен, – еще раз засунул в ботинки концы шнурков и пересчитал мелочь, приготовленную на обратную дорогу; из душевых уже возвращались первые игроки, разговаривая «о мяче, который забил Роберт».

– Пошли вместе?

– Хорошо.

Они поднялись по обшарпанным бетонным ступенькам, на которых грязь лежала еще с весны, валялись бумажки от конфет и пустые пачки из-под сигарет, и вышли на дамбу, где гребцы, обливаясь потом, вкатывали лодку на цементную дорожку; в полном молчании брели они рядом по дамбе, перекинутой через низкие пласты тумана, словно мост; они слышали паровозные гудки, видели красные и зеленые сигнальные огни на мачтах пароходов; от верфи летели красные искры, вычерчивая геометрические фигуры в сером небе; мальчики молча дошли до моста, поднялись по лестнице вверх, туда, где на красном песчанике были нацарапаны надписи, увековечившие тайные вожделения молодых людей, возвращавшихся с купанья; грохот товарного поезда, проезжавшего по мосту, на некоторое время избавил их от необходимости говорить: на западный берег везли отходы – шлак; покачивались сигнальные огни, пронзительные свистки направляли поезд, который, пятясь задом, переходил на другой путь; внизу в тумане скользили пароходы, держа курс на север; жалобный вой сирен, предупреждавший о смертельной опасности, тоскливо разносился над водой; из-за всего этого шума, к счастью, нельзя было разговаривать.

– И я остановился, Гуго, прислонясь к перилам, лицом к реке, вытащил из кармана пачку сигарет и предложил сигарету Шрелле, он дал мне прикурить, и мы молча курили, в то время как позади нас поезд, громыхая, съезжал с моста; под нами почти беззвучно двигался караван барж, направляясь к северу; было слышно, как баржи мягко скользили под пеленой тумана да временами из трубы какой-нибудь судовой кухни с легким треском вылетали искры; на несколько минут воцарилась тишина, а потом следующая баржа мягко заскользила под мостом – на север, на север, к туманам Северного моря; и мне стало страшно, Гуго, потому что теперь мне надо было задать вопрос Шрелле, а я знал: стоит мне произнести первый вопрос, и я увязну во всей этой истории, увязну накрепко и никогда больше с ней не разделаюсь, видно, это была страшная тайна, если из-за нее Неттлингер поставил на карту нашу победу и «оттонцы» согласились, чтобы судьей был Бен Уэкс; стояла почти абсолютная тишина, и она придавала вопросу, который просился с моих губ, особый вес, она приобщала его к вечности, и мысленно, Гуго, я уже прощался со всем, хотя еще не знал, почему и ради чего; я прощался с темной башней Святого Северина, вздымавшейся над низко стелющимся туманом, и с отчим домом, тут же, неподалеку от Святого Северина; в это время моя мать заканчивала приготовления к ужину – поправляла серебряные приборы, бережно уставляла цветы в маленьких вазочках, пробовала вино, достаточно ли охлаждено белое и не слишком ли остыло красное. Собираясь справить субботний день с субботней торжественностью, она уже взялась за свой требник; мать сейчас начнет объяснять воскресную литургию своим кротким голосом, в котором звучали покаянные великопостные ноты: «Паси агнцев Моих»; я мысленно прощался со своей комнатой в задней половине дома, выходившей в сад, где вековые деревья еще стояли в летнем уборе и где я со страстью углублялся в математические формулы, в строгие кривые геометрических фигур, в по-зимнему ясные переплетения сферических линий, проведенных моим циркулем и моим рейсфедером, – там я чертил церкви, которые когда-нибудь построю. Щелкнув пальцем по окурку, Шрелла швырнул его в туман; красный огонек, медленно кружась, опускался вниз; Шрелла с улыбкой повернулся ко мне, ожидая вопроса, который я все еще не решался задать, и покачал головой.

Цепочка огней отчетливо вырисовывалась над пеленой тумана на берегу.

– Идем, – сказал Шрелла, – вот они уже явились, разве ты не слышишь?

Я слышал: мост дрожал от их шагов; они перечисляли места, куда скоро поедут на каникулы: Альгой, Вестервальд, Бадгастайн, Северное море; они говорили «о мяче, который забил Роберт». На ходу мне было легче задать ему вопрос.

– Что это значит? – спросил я. – Что это значит? Ты – еврей?

– Нет.

– Кто же ты тогда?

– Мы – агнцы, – сказал Шрелла, – мы поклялись не принимать «причастие буйвола».

– Агнцы. – Я испугался этого слова. – Это секта? – спросил я.

– Пожалуй.

– А не партия?

– Нет.

– Я бы не смог, – сказал я, – я не могу быть агнцем.

– Значит, ты хочешь принимать «причастие буйвола»?

– Нет, – сказал я.

– Пастыри… – сказал он, – есть пастыри, которые не покидают своего стада…

– Скорее, – прервал я его, – скорее, они уже совсем близко.

Мы сошли вниз по темной лестнице на западной стороне моста; когда мы добрались до шоссе, я поколебался секунду: чтобы пойти домой, мне нужно было свернуть направо, а Шрелле налево, – но потом я все же отправился с ним налево; дорога к городу петляла между дровяными складами, сараями и небольшими огородиками. За первым же поворотом мы остановились, теперь мы

углубились в туман, низко стелющийся над землей, увидели, как силуэты школьных товарищей движутся над перилами моста, услышали шум их шагов, их голоса, а когда они начали спускаться вниз и эхо загрохотало, повторяя стук подбитых гвоздями башмаков, чей-то голос прокричал: «Неттлингер, Неттлингер, подожди же!» Громкий голос Неттлингера в свою очередь разбудил над рекой гулкое эхо; разбившись о быки моста, оно вернулось к нам, а потом затерялось где-то позади в огородах и в складских помещениях; Неттлингер закричал: «Где же наша овечка и ее пастырь?» – и смех, многократно повторенный раскатами эха, осыпал нас ледяными осколками.

– Ты слышал? – спросил Шрелла.

– Да, – сказал я, – овца и пастырь.

Мы смотрели на тени замешкавшихся мальчиков, которые двигались над мостом; пока они спускались, их голоса звучали глухо, а когда они пошли по шоссе, голоса стали звонче, дробясь под сводами моста: «Мяч, который забил Роберт».

– Расскажи мне все по порядку, – сказал я Шрелле. – Я должен знать все по порядку.

– Я тебе просто покажу, – ответил Шрелла, – пошли.

Мы ощупью пробирались сквозь туман мимо изгородей из колючей проволоки, потом дошли до деревянного забора, еще пахнущего свежим деревом и отсвечивающего желтым; электрическая лампочка над закрытыми воротами освещала эмалевую вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

– Ты еще помнишь эту дорогу? – спросил Шрелла.

– Да, – сказал я, – семь лет назад мы часто ходили здесь вместе, а потом играли там внизу у Тришлера. Кем стал теперь Алоиз?

– Он моряк, как и его отец.

– А твой отец все еще служит кельнером внизу в портовом кабачке?

– Нет, он теперь работает в Верхней гавани.

– Ты хотел что-то показать мне?

Шрелла вынул изо рта сигарету, снял куртку, спустил с плеч подтяжки, поднял рубаху и повернулся ко мне спиной; при тусклом свете лампочки я увидел, что его спина сплошь покрыта небольшими красновато-синими рубцами величиной с фасолину – правильней было бы сказать, усеяна рубцами, подумал я.

– Боже мой, что это? – спросил я.

– Это – Неттлингер, – ответил он, – они занимаются этим внизу, в старой казарме на Вильхельмскуле, Бен Уэкс и Неттлингер. Они называют себя вспомогательной полицией; меня они схватили во время облавы на нищих, которую устроили в районе гавани; за один день там взяли тридцать восемь нищих, среди них был и я. Нас допрашивали, избивая бичом из колючей проволоки. Они говорили: «Признайся, что ты нищий», а я отвечал: «Да, я нищий».

Запоздалые посетители все еще сидели за завтраком в ресторане, потягивая апельсиновый сок с таким видом, словно это запретный напиток; бледный мальчик, прислонившийся к двери, походил на статую; от лилового бархата ливреи лицо его казалось зеленым.

– Гуго, Гуго, ты слышишь, что я говорю?

– Да, господин доктор, слышу каждое слово.

– Принеси мне, пожалуйста, рюмку коньяку, двойную порцию.

– Да, господин доктор.

Пока Гуго спускался по лестнице в ресторан, на него суровым оком взирало время с большого календаря, с которым мальчик каждое утро возился – он переворачивал большую картонную цифру и вдвигал под нее табличку с наименованием месяца, а еще ниже – года; было «6 сентября 1958 года». У Гуго

кружилась голова, все эти события произошли задолго до его рождения, и это отбрасывало его на десятилетия, на пятидесятилетия назад – 1885, 1903 и 1935, эти годы были скрыты в глуби времен, и все же они реально существовали; они воскресли в голосе Фемеля, который, прислонясь к бильярду, смотрел на площадь перед Святым Северином. Гуго крепко держался за перила и глубоко дышал, как человек, который выплыл на поверхность; потом он открыл глаза и быстро шмыгнул за большую колонну. Вот она спускается по лестнице, босая, в пастушеском наряде – поношенная кожаная безрукавка закрывает ей грудь и бедра, от девушки пахнет овечьим навозом; сейчас она примется за пшенную кашу с черным хлебом, съест несколько орехов и будет пить овечье молоко, которое хранят для нее в холодильнике; она возит с собой термосы с молоком, возит маленькие коробочки с овечьим навозом, который заменяет ей духи; она пропитывает им свое грубое вязаное белье из небеленой шерсти; после завтрака она часами сидит в холле внизу, вяжет, вяжет без конца, прерывая это занятие только для того, чтобы подойти к стойке и взять стакан воды; скрестив голые ноги на кушетке, выставив на всеобщее обозрение грязные мозоли на ступнях и покуривая короткую трубочку, она принимает своих отроков и отроковиц, которые одеты так же, как она, и пахнут, как она; они усаживаются вокруг нее на ковре, скрестив ноги, и вяжут, время от времени открывая маленькие коробочки, которые дает им Госпожа, и вдыхая запах овечьего навоза с таким видом, словно это самый изысканный аромат; через определенные промежутки времени, не вставая с кушетки, она откашливается и спрашивает своим детским голоском:

– Как мы спасем мир?

А отроки и отроковицы отвечают:

– Овечьей шерстью, овечьей кожей, овечьим молоком и вязаньем.

Спицы позвякивают, в холле тихо, и только время от времени кто-нибудь из отроков подлетает к стойке и приносит Госпоже стакан холодной воды, и снова с кушетки доносится кроткий девичий голосок: «В чем блаженство мира?» – и все хором отвечают: «В овце».

Порой, когда они открывали коробочки и восторженно нюхали навоз, с треском вспыхивал магний и скрипели перья журналистов, быстро строчивших что-то на листках своих записных книжек.

Гуго медленно отступал все дальше, пока овечья жрица, огибая колонну, шла в зал завтракать: Гуго боялся ее, он видел, какими жесткими становились ее кроткие глаза, когда она оставалась с ним наедине, перехватив его на лестнице или у себя в номере, куда приказывала Гуго принести ей молоко; она встречала его с сигаретой во рту, вырывала у него из рук стакан и, смеясь, выплескивала молоко в раковину, а себе наливала коньяк и с рюмкой в руках подходила к нему, заставляя его медленно пятиться к двери.

– Неужели тебе еще никто не говорил, что твое лицо – золото, чистое золото, глупый ты мальчик? Хочешь, я сделаю тебя агнцем божьим в моей новой религии? Ты будешь знаменит и богат, они падут пред тобой ниц в еще более шикарных отелях, чем этот. Ты, видно, здесь новичок и плохо знаешь людей – их скуку можно разогнать только какой-нибудь новой религией, и чем глупее, тем лучше, – нет, убирайся, ты слишком глуп.

Он смотрел ей вслед, пока она с неподвижным лицом проходила в ресторан завтракать и кельнер держал перед ней дверь. Тогда Гуго вышел из-за колонны и медленно направился в зал, сердце у него все еще сильно билось.

– Рюмку коньяку для доктора в бильярдной, двойную порцию.

– Из-за твоего доктора заварилась хорошая каша.

– Как так?

– Я еще сам толком не знаю. Кажется, кому-то он срочно понадобился, твой доктор. На тебе коньяк, и побыстрее сматывайся, за тобой охотится по меньшей мере два десятка старых и молодых баб. Да живее, одна из них как раз спускается по лестнице.

Вид у нее был такой, словно она за завтраком пила чистую желчь, она была в золотистом платье и золотых туфлях, в шляпке и с муфтой из львиного меха. Стоило ей появиться, как всех охватывало отвращение, некоторые суеверные постояльцы закрывали себе лицо. Из-за нее отказывались от места горничные, кельнеры не желали ее обслуживать. И только Гуго, когда ей удавалось его настичь, вынужден был часами играть с ней в канасту, пальцы ее походили на куриные когти; единственно человеческое, что в ней было, – это сигарета,

торчавшая во рту.

«…Любовь, мой мальчик… Я никогда не знала, что это такое; все, решительно все дают мне понять, что я вызываю только чувство омерзения. Мать проклинала меня десять раз на дню, не стесняясь, выражала мне свое отвращение. Моя мать была красивая молодая женщина; мой отец, мои сестры и братья тоже были молодые и красивые; если бы у них хватило мужества, они бы меня отравили, они говорили, что «такой, как я, не следовало родиться». Мы жили высоко на горе в желтой вилле над сталелитейным заводом; вечерами тысячи рабочих покидали завод: их ожидали веселые девушки и женщины; смеясь, рабочие спускались вместе со своими подружками по грязной дороге. Я вижу, слышу, чувствую, я ощущаю запахи, как все другие люди, я умею писать, читать, считать; я различаю, что вкусно и что невкусно, но ты первый, кто оказался в состоянии провести со мной больше получаса, слышишь, первый».

Эта женщина вселяла ужас, и за ней неотступно следовала тень беды; бросив ключ от номера на конторку, она крикнула бою, который заменял Йохена: «Гуго, где же Гуго?» – а когда бой пожал плечами, пошла к вращающейся двери; как только женщина вышла на улицу, она закрыла лицо вуалью.

«В отеле я ее не ношу, мой мальчик, пусть люди получают удовольствие, пусть за мои деньги смотрят мне в лицо, но прохожие… они этого не заслужили».

– Вот коньяк, господин доктор!

– Спасибо, Гуго.

Гуго любил Фемеля; каждое утро тот приходил в половине десятого и освобождал его до одиннадцати; благодаря Фемелю он уже познал чувство вечности; разве так не было всегда, разве уже сто лет назад он не стоял здесь у белой блестящей двери, заложив руки за спину, наблюдал за тихой игрой в бильярд, прислушиваясь к словам, которые то отбрасывали его на шестьдесят лет назад, то бросали на двадцать лет вперед, то снова отбрасывали на десять лет назад, а потом внезапно швыряли в сегодняшний день, обозначенный на большом календаре. Белые шары катились по зеленому полю, красные по зеленому – красно-белые по зеленому, – никогда не вылетая за пределы двух квадратных метров зеленого сукна, окруженного бортами; все здесь было чисто,

ясно и точно и продолжалось с половины десятого до одиннадцати утра; раза два-три Гуго спускался вниз за двойной порцией коньяка; время переставало быть величиной, по которой можно было о чем-то судить, прямоугольная зеленая промокашка сукна, казалось, всасывала его; напрасно били часы, напрасно стрелки в бессмысленной спешке гнались друг за другом; с приходом Фемеля все останавливалось, все прекращалось, и как раз тогда, когда было больше всего работы: старые постояльцы съезжали, новые появлялись, а Гуго стоял здесь как прикованный, пока на башне Святого Северина не пробьет одиннадцать. Но когда это будет? Кто знает, когда пробьет одиннадцать? Он находился как бы в безвоздушном пространстве, и часы переставали показывать время; он погружался куда-то очень глубоко, двигался по дну океана; действительность не проникала сюда, она оставалась снаружи, будто за стенками аквариума или за стеклами витрин; прильнув к ним, она сплющивалась, теряла свою объемность, сохраняя лишь одно линейное измерение, словно картинка, вырезанная из детского альбома; люди там, снаружи, казалось, набросили на себя одежды только на время, как картонные куклы, и беспомощно ударялись о стены из стекла, которые были толще, чем столетия; вдали виднелась тень Святого Северина, еще дальше – вокзал и поезда: курьерские поезда, поезда дальнего следования, экспрессы, воинские эшелоны и товарные составы, все они везли чемоданы к таможням, но единственной реальностью были три бильярдных шара, которые катились по зеленой промокашке, образуя все новые и новые геометрические фигуры; на двух квадратных метрах в тысяче образов рождалась бесконечность; Фемель создавал ее своим кием, а тем временем голос его терялся в глуби времен.

– А продолжение у этой истории будет, господин доктор?

– Хочешь узнать его?

– Да.

Фемель засмеялся, пригубил рюмку с коньяком, закурил новую сигарету, взял в руки кий и толкнул красный шар; красный и белый шары покатились по зеленому полю.

– Через неделю после этого, Гуго…

– После чего?

Фемель опять рассмеялся.

– …прошла неделя после игры в лапту, после этой даты – четырнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, которую они нацарапали на штукатурке поверх металлической вешалки, и я понял, как хорошо, что Шрелла напомнил мне дорогу к дому Тришлера. Я стоял в Нижней гавани, у балюстрады старой таможни; оттуда я мог хорошо обозреть дорогу, пробегавшую мимо дровяных сараев и угольных складов, спускавшуюся к лавке строительных материалов, а затем к гавани, которая была обнесена ржавой железной оградой – теперь она служила только кладбищем кораблей. Последний раз я приходил сюда семь лет назад, но мне казалось, что с того времени прошло лет пятьдесят. Мне минуло тринадцать, когда мы вместе со Шреллой ходили к Тришлеру; длинные караваны барж становились по вечерам на якорь у откоса; жены моряков с кошелками в руках поднимались по шатким сходням на берег, у женщин были свежие лица и уверенный взгляд, а за ними шли мужчины; они спрашивали пиво и газеты; мать Тришлера с беспокойством оглядывала свои товары – капусту, помидоры и золотистые луковицы, связки которых висели на стене, а в это время пастух на дороге короткими резкими окриками понукал собак, сгонявших овец в загоны; напротив, на этом, здешнем, берегу, Гуго, зажигались газовые фонари; желтоватый свет наполнял белые колпаки, рядами убегавшие на север, в бесконечность; отец Тришлера зажигал фонари в своем кафе в саду, а отец Шреллы с белой салфеткой, перекинутой через руку, торопился в трактир для грузчиков, где мы, мальчики – Тришлер, Шрелла и я, – кололи лед, чтобы засыпать им ящики с пивом.

И вот, милый Гуго, семь лет спустя, в тот день, двадцать первого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, на всех заборах облупилась краска, и я увидел, что на угольном складе Михаэлиса заново выкрашены только ворота: у забора истлевала большая куча брикетов; я все время следил за петлями дороги – не преследует ли меня кто-нибудь; я устал, раны на спине давали себя знать, боль ощущалась вспышками, подобно ударам пульса; уже минут десять как на дороге никто не появлялся, я взглянул на узкую, покрытую рябью полоску прозрачной воды, соединявшую Нижнюю гавань с Верхней; лодок не было, взглянул на небо – самолетов тоже не было, и подумал: ты, видно, принимаешь себя слишком всерьез, если воображаешь, что за тобой пошлют самолеты.

Да, я это сделал, Гуго, отправился вместе со Шреллой в маленькое кафе «Ценз» на Бауссерештрассе, где встречались «агнцы», шепнул хозяину пароль «Паси агнцев Моих» и поклялся, поклялся, глядя прямо в глаза молоденькой девушке,

которую звали Эдит, никогда не принимать «причастия буйвола», а потом в темной задней комнате произнес речь, в которой звучало немало зловещих слов, не имеющих ничего общего с агнцами, эти слова пахли кровью, мятежом и местью, местью за Ферди Прогульске, которого утром казнили; все те, кто сидел за столом и слушал меня, казались уже обезглавленными; им было страшно, они знали теперь, что, когда дети задумали что-нибудь всерьез, они не менее серьезны, чем взрослые; их мучил страх и сознание того, что Ферди действительно мертв; ему было семнадцать лет, он был бегуном на сто метров и работал подмастерьем у столяра; я видел его всего четыре раза, но никогда в жизни не забуду – дважды я видел его в кафе «Цонз» и дважды у нас дома. Ферди прокрался в квартиру Бена Уэкса и, когда тот вышел из спальни, бросил ему под ноги бомбу; Бен Уэкс отделался всего лишь ожогом ног, в гардеробе разбилось зеркало, в комнате слегка запахло порохом… Это было, Гуго, глупостью, совершенной оттого, что Ферди по-детски понимал благородство. Ты слушаешь меня, ты в самом деле меня слушаешь?

– Слушаю!

– Я читал Гёльдерлина: «И, сострадая, сердце Всевышнего твердым останется», а Ферди читал только Карла Мая, который, как ему казалось, тоже проповедовал благородство; свою глупость он искупил под топором палача; это случилось на рассвете, когда колокола звонили к ранней мессе, когда булочники отсчитывали теплые булочки в полотняные мешочки, а здесь, в отеле «Принц Генрих», приносили завтрак первым посетителям; щебетали птицы, молочницы в туфлях на резиновой подошве неслышно входили в тихие парадные, чтобы поставить бутылки с молоком на чистые кокосовые циновки; рассыльные на мотоциклах носились по всему городу от одного афишного столба к другому, наклеивая плакаты, обведенные красной каймой: «Смертный приговор подмастерью Фердинанду Прогульске!» – плакат, который читали первые прохожие, трамвайщики, школьники и учителя, все те, кто по утрам с бутербродами в карманах спешит к остановкам трамвая и еще не успел раскрыть местную газету, сообщавшую об этом событии броским заголовком «Поучительная казнь»; я, Гуго, прочел это вот здесь, на углу, ожидая седьмой номер трамвая.

Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» – «Приду».

Эндерс хотел втащить меня за рукав в трамвай, но я вырвался, дождался, когда трамвай скроется за углом, подбежал к остановке на противоположной стороне улицы, где до сих пор еще ходит шестнадцатый номер, проехал через тихие пригороды к Рейну, а потом снова прочь от Рейна и все дальше от города, пока трамвай не завернул наконец на круг к конечной остановке, петляя между гравийными карьерами и бараками. Лучше бы сейчас была зима, думал я, зима, холод, дождь и небо, покрытое тучами, но зимы не было, и все казалось мне невыносимым; плутая между огородами, я видел абрикосы и горох, помидоры и капусту; я слышал, как дребезжат пивные бутылки и звонит колокольчик мороженщика, который стоял на перекрестке и накладывал ванильное мороженое в ломкие вафли. Как они только могут, думал я, как они могут есть мороженое, пить пиво и мять в руках абрикосы в то время, как Ферди… Было около полудня, я скармливал свои бутерброды угрюмым курам, которые чертили неясные геометрические фигуры на грязной земле во дворе у старьевщика; из окна раздался женский голос: «Ты читал про этого мальчика, которого…» – и мужской голос произнес в ответ: «Молчи же, черт побери, знаю…» Я бросил бутерброды курам, побежал дальше и начал блуждать между железнодорожными насыпями и ямами с грунтовой водой, добрался опять до какой-то конечной остановки, проехал через незнакомые пригороды, вышел, вывернул наизнанку карманы брюк: на серую дорогу тоненькой струйкой посыпался черный порох; я побежал дальше, снова замелькали железнодорожные насыпи, склады, фабрики, огороды, дома; в каком-то кино кассирша как раз подняла стекло в окошке: «Сеанс в три часа». Было ровно три. «Пятьдесят пфеннигов». Я был единственным зрителем; железная крыша кино плавилась от жары; любовь… кровь… обманутый любовник обнажил нож… Я заснул и проснулся лишь в тот момент, когда зрители с шумком устремились в зал на шестичасовой сеанс; шатаясь, я вышел на улицу. Где я забыл свой школьный портфель? В кино? А может, у гравийного карьера, я долго сидел там, наблюдая за мокрыми грузовиками. Возможно также, портфель остался в том месте, где я бросал хлеб угрюмым курам. Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» – «Приду».

Свидание с обезглавленным. Глупость, которая уже сейчас казалась мне священной, потому что за нее пришлось платить дорогой ценой. Вчера перед кафе «Цонз» меня ожидал Неттлингер. Они привели меня на Вильхельм- скуле, избили бичом из колючей проволоки, исполосовали мне всю спину; сквозь ржавые решетки на окнах я видел откос, где играл ребенком; мяч все время скатывался по склону, и я то и дело сползал вниз и подымал мяч, боязливо вглядываясь в ржавые решетки; у меня было такое чувство, будто там, за

грязными стеклами, свершаются недобрые дела; Неттлингер живого места на мне не оставил.

В камере я попытался снять с себя рубаху, но рубаха и кожа были совершенно искромсаны, они превратились в сплошное месиво, и когда я тянул за воротник и за рукава рубахи, мне казалось, что я через голову сдираю с себя кожу.

Нелегко даются такие мгновения; усталый, стоял я у балюстрады старой таможни, ощущая не столько гордость за то, что отмечен врагами, сколько боль; голова моя опустилась на перила, губы коснулись ржавых железных прутьев; было приятно ощущать во рту горечь старого железа; до Тришлеров – всего лишь минута ходу, там я узнаю, ожидают ли они меня. Я испугался: какой-то рабочий с котелком под мышкой шел вверх по улице, а потом скрылся в воротах лавки строительных материалов. Спускаясь по лестнице, я так крепко вцепился в перила, что к ладоням пристала ржавчина.

От веселого перестука клепальных молотков, который я слышал здесь семь лет назад, остался сейчас только слабый отголосок; всего лишь один молоток стучал на понтоне, где какой-то старик разбирал лодку; гайки, загремев, падали в коробку, доски ударялись о землю, и по стуку было ясно, что они совсем гнилые; старик выслушивал мотор так, как выслушивают сердце любимого существа; он низко нагибался, вытаскивая из лодки различные детали – болты, крышки, насадки; потом он поднял к свету цилиндр и, прежде чем бросить его в коробку с гайками, долго разглядывал и даже обнюхивал; за лодкой стоял старый ворот, на котором висел обрывок каната, гнилой, как истлевший чулок.

Воспоминания о людях и событиях были всегда связаны для меня с воспоминаниями о движениях, которые запечатлевались в моей памяти в виде геометрических фигур. Я помню, как перегнулся через балюстраду, как поднял и опустил голову, поднял и опустил, чтобы осмотреть улицу, – воспоминание обо всем этом вновь вызвало в моем сознании слова, краски, образы и ощущения. Я не вспомнил, как выглядел Ферди, зато я вспомнил, как он зажигал спичку, как он слегка откидывал голову, говоря «да-да», «нет-нет», вспомнил складки на лбу Шреллы и как он пожимал плечами, походку отца, жесты матери, движение, каким бабушка убирала волосы со лба; старик, на которого я смотрел с откоса, в этот миг сбивал с большого винта кусочки прогнившего дерева; то был отец Тришлера – эти движения были свойственны только ему одному; когда-то я наблюдал за ним, видел, как он вскрывал ящики и снова забивал их гвоздями;

в ящиках была контрабанда, которая тайно переправлялась через границу в темном чреве пароходов, – ром, изюм, сигареты и шоколад; там, в трактире для грузчиков, эта рука делала движения, присущие ей одной. Старик поднял глаза, подмигнул мне и сказал:

– Послушай, сынок, ведь эта дорога никуда не ведет.

– Она ведет к вашему дому, – ответил я.

– Мои гости приезжают ко мне по воде, даже полиция, да и мой сын тоже приезжает на лодке, правда, он приезжает редко, очень редко.

– Полиция уже там?

– Почему ты об этом спрашиваешь, сынок?

– Потому что меня ищут.

– Ты что-нибудь украл?

– Нет, – сказал я, – просто я отказался принимать «причастие буйвола».

Корабли, думал я, корабли с темным чревом и капитаны, умеющие обманывать таможенников, я займу не много места, не больше, чем свернутый в трубку ковер; я хочу перебраться через границу, запрятанный в свернутый парус.

– Спускайся вниз, – сказал Тришлер, – наверху тебя могут увидеть с того берега.

Я повернулся и начал медленно скользить вниз к Тришлеру, цепляясь за траву.

– Ах, – сказал старик, – я знаю, кто ты, но запамятовал твое имя.

– Фемель, – сказал я.

– Ясно, тебя ищут, и сегодня утром даже объявили об этом по радио, я мог и сам догадаться, что речь идет о тебе, ведь они назвали твою примету – красный

шрам на переносице; ты ударился головой о железный борт лодки во время паводка, когда мы переплывали через реку и налетели на доски моста, – я тогда не сообразил, что течение такое сильное.

– Да, и мне не разрешили больше здесь бывать.

– Но ты еще бывал здесь.

– Недолго, до тех пор, пока не поссорился с Алоизом.

– Пойдем, только смотри нагнись, когда будем проходить под разводным мостом, иначе опять набьешь себе шишку и тебе больше не разрешат здесь бывать. Как тебе удалось удрать от них?

– Неттлингер пришел на рассвете ко мне в камеру и вывел меня через подземный ход, который тянется до самой железнодорожной насыпи на Вильхельмскуле. Неттлингер сказал: «Сматывайся, беги! Но в твоем распоряжении только один час, через час я должен сообщить о тебе полиции», – мне пришлось петлять по всему городу, чтобы добраться сюда.

– Так, так, – сказал старик, – значит, вам приспичило бросать бомбы! Приспичило устраивать заговоры и… Вчера я уже переправил одного парня через границу.

– Вчера? – спросил я. – Кого?

– Шреллу, – сказал он, – он здесь скрывался, и я заставил его уехать на «Анне Катарине».

– Алоиз когда-то хотел стать рулевым на «Анне Катарине».

– Он и стал рулевым на «Анне Катарине»… а теперь пошли.

Когда мы пробирались по берегу вдоль наклонной стенки набережной к дому Тришлера, я споткнулся и упал, встал и опять упал, и еще раз встал; от толчков моя рубашка то отрывалась от кожи, то снова прилипала к ней и опять отрывалась; я невольно бередил свои раны и чуть было не потерял сознание от боли; в этом состоянии краски, запахи и движения, навеянные тысячей

воспоминаний, смешивались воедино и наслаивались друг на друга, но боль вытесняла эти пестрые письмена, мелькавшие как в калейдоскопе.

Половодье, думал я, мне всегда хотелось броситься в разлившуюся реку и дать отнести себя к серому горизонту.

В забытьи меня долго мучил вопрос, можно ли спрятать в котелок бич из колючей проволоки; воспоминания о движениях превращались в линии; линии, соединяясь между собой, складывались в геометрические фигуры – зеленые, черные, красные, они напоминали кардиограмму, изображающую биение человеческого сердца; взмах, которым Алоиз Тришлер вытаскивал свою удочку, когда мы ловили рыбу в Старой гавани, жест, которым он забрасывал в воду леску с наживкой, и жест, которым он указывал на быстрое течение, – все это было точной геометрической фигурой, нарисованной зеленым по серому; Неттлингер, подымающий руку, чтобы бросить Шрелле мяч в лицо, дрожь его губ, подергивание его ноздрей превратились в серую фигуру, похожую на паутину; казалось, какие-то самопишущие аппараты, неизвестно откуда взявшиеся, запечатлели в моей памяти образы различных людей: лицо Эдит вечером после игры в лапту, когда я шел домой со Шреллой, и оно же за городом в Блессенфельдском парке – тогда я смотрел на него сверху вниз, мы лежали в траве, и лицо ее было мокрым от теплого дождя, серебристые капли поблескивали на ее белокурых волосах и скатывались по бровям, лицо Эдит дышало, а вместе с ним подымалась и опускалась корона из серебристых капель. Эта корона в моих воспоминаниях походила на скелет диковинного морского животного, найденный на песке ржавого цвета, или на бесчисленные облачка одной и той же величины; я вспомнил линию ее губ, когда она говорила мне: «Они тебя убьют». То была Эдит.

В забытьи меня мучил также потерянный школьный портфель, ведь я всегда был так аккуратен; то я выхватывал серо-зеленый том Овидия из клюва тощей курицы, то препирался с билетершей в кино из-за стихотворения Гёльдерлина, которое она вырвала из моей хрестоматии, так как оно ей очень понравилось: «И, сострадая, сердце Всевышнего твердым останется».

Ужин, принесенный госпожой Тришлер, – стакан молока, яйцо, хлеб и яблоко; госпожа Тришлер обмыла вином мою истерзанную спину; ее руки были проворны, словно руки молодой девушки; боль вспыхнула во мне с новой силой, когда она выжимала губку с вином и вино текло по моей иссеченной спине; а потом она принялась лить на нее масло.

– Откуда вы знаете, что так надо? – спросил я.

– Можешь прочесть в Библии, как это делают, – сказала она, – я уже обмывала раны твоему другу Шрелле! Алоиз послезавтра будет здесь, а в воскресенье он пойдет из Рурорта в Роттердам. Будь спокоен, – сказала она, – уж они все устроят; на реке люди знают друг друга, как будто век прожили на одной улице. Хочешь еще молока, дружок?

– Нет, спасибо.

– Не бойся, в понедельник или во вторник ты уже будешь в Роттердаме. Что такое, что с тобой?

Ничего, ничего. Меня все еще разыскивали по красному шраму на переносице. Отец, мать, Эдит: я не хотел ни определять степень моей нежности к ним, ни изливать свою тоску по этим людям в бесконечных жалобах; я смотрел на веселую реку с белыми праздничными пароходами и пестрыми вымпелами; веселыми казались даже грузовые суда – красные, зеленые, синие, – они сновали взад и вперед, груженные углем и дровами; на том берегу виднелась зеленая аллея и белоснежная терраса кафе «Бельвю», а за ними – башня Святого Северина и красная световая реклама на отеле «Принц Генрих». Оттуда было всего сто шагов до дома моих родителей; как раз сейчас они садились за ужин, за грандиозную трапезу; во главе стола, подобно патриарху, восседал мой отец; субботу у нас справляли с субботней торжественностью; и мать беспокоилась: не слишком ли остыло красное вино и достаточно ли охлаждено белое.

– Выпей еще молока, дружок.

– Спасибо, госпожа Тришлер, мне, право, не хочется.

Рассыльные на мотоциклах носились по городу от одного афишного столба к другому с плакатами, обрамленными красной каймой: «Смертный приговор гимназисту Роберту Фемелю…» Отец будет молиться за ужином: «…они били его ради нас», мать смиренно сложит руки на груди, прежде чем сказать: «Сколько зла в мире. Как мало чистых душ на свете», а башмаки Отто все еще будут выстукивать слово «брат», когда он пройдет по квартире, по каменным плиткам

лестницы и по улице, удаляясь вниз к Модестским воротам.

Там, на реке, гудела «Стилте», пронзительные звуки сирены прорезали вечернее небо и, словно белые молнии, бороздили темную синеву. Я лежал на брезенте, будто умерший в открытом море, которого решили похоронить в морской пучине. Алоиз поднял края брезента, чтобы завернуть меня, и я ясно различил слова, вытканные белыми буквами на сером брезенте: «Морвин. Эймёйден». Госпожа Тришлер склонилась надо мной и, плача, поцеловала, а Алоиз медленно завернул меня и бережно поднял на руки, точно я был дорогим его сердцу покойником.

– Сынок, – крикнул старик, – сынок, не забывай нас.

Подул вечерний ветер, «Стилте» еще раз загудела, дружески предостерегая; в загоне заблеяли овцы, мороженщик прокричал: «Мороженое! Мороженое!» – замолчал и, должно быть, стал накладывать ванильное мороженое в хрупкие вафли. Доска, по которой шел Алоиз, держа меня на руках, слегка пружинила, и чей-то голос тихо спросил: «Это он?» Алоиз так же тихо ответил: «Да, он» – и прошептал мне на прощанье: «Думай о том, что во вторник вечером ты уже будешь в роттердамской гавани». Чьи-то руки понесли меня вниз по лестнице: запахло машинным маслом, углем, а потом дровами; откуда-то издалека доносились гудки, «Стилте» начала сотрясаться, гул нарастал, и я почувствовал, что мы плывем вниз по Рейну, с каждой минутой удаляясь все дальше от Святого Северина.

Тень Святого Северина подползала все ближе, она уже заполнила левое окно бильярдной, а потом дошла и до правого; время, которое передвигалось вместе с солнцем, угрожающе приблизилось, переполняя башенные часы; вот-вот они изрыгнут из себя ужасные удары. А шары все катились – белые по зеленому полю, красные по зеленому, расчленяя годы, нагромождая друг на друга десятилетия и секунды; о секундах Фемель говорил своим бесстрастным голосом так, словно это были века; только бы мне не пришлось снова идти за коньяком, увидеть число на календаре и часы, встретиться с овечьей жрицей и с той, которой «не следовало родиться», только бы еще раз услышать слова Фемеля: «Паси агнцев Моих» – и узнать что-нибудь о женщине, лежавшей когда-то под летним дождем на траве; услышать о кораблях, встающих на якорь, и женах моряков, спускающихся по сходням, и о мяче, который забил Роберт, Роберт, никогда не принимавший «причастие буйвола», Роберт, продолжавший молча

играть в бильярд, создавая своим кием разнообразные комбинации шаров на пространстве всего лишь в два квадратных метра.

– А ты, Гуго, – тихо спросил Фемель, – ты мне сегодня ничего не расскажешь?

– Не знаю, сколько это продолжалось на самом деле, но мне кажется – целую вечность; каждый раз после уроков они избивали меня; иногда я не решался выйти, пока не удостоверюсь, что все пошли обедать; женщина, которая убирала школу, находила меня в вестибюле и спрашивала: «Что ты так долго сидишь здесь, мальчик? Твоя мать уже, верно, ждет тебя не дождется».

Но я все еще боялся выйти и ждал, чтобы уборщица тоже ушла и заперла меня в школе. Это не всегда удавалось, чаще всего уборщица выгоняла меня перед тем, как запереть двери, зато как я радовался, если все сходило гладко и меня запирали; в партах и помойных ведрах, которые уборщица оставляла в вестибюле для мусорщика, я находил достаточно еды – бутерброды, яблоки, остатки пирога. Я был в школе один, и в полной безопасности. Согнувшись, я заползал в раздевалку для учителей, позади входа в подвал, потому что боялся, как бы мои мучители не заглянули в окно и не обнаружили меня; но прошло много времени, прежде чем они дознались, что я прячусь в школе. Нередко я просиживал там часами, до самого вечера, а потом открывал окно и вылезал на улицу. Часто я подолгу смотрел на пустынный школьный двор – может ли быть что-нибудь более пустынное, чем школьный двор под вечер? Все шло прекрасно до той поры, пока они не узнали, что я отсиживаюсь в запертой школе. Я прятался в раздевалке для учителей или где-нибудь под подоконником и ждал, когда во мне проснется то, о чем я знал только понаслышке, – ненависть. Я был бы рад ненавидеть своих врагов, но не мог, господин доктор. Я не испытывал ничего, кроме страха. Бывали дни, когда я высиживал в школе только до трех или до четырех, думая, что они уже ушли и мне удастся быстро промчаться по улице мимо конюшен Майда, обежать церковный двор и запереться дома. Но они сменяли друг друга, они ходили есть по очереди, ибо отказаться от еды было выше их сил; и когда они подбегали ко мне, я уже издали чуял, чем их сегодня кормили: картофелем с подливкой, жарким или капустой со шпигом; они били меня, и я думал, ради чего умер Христос, какая мне польза от его смерти, какая польза от того, что они каждое утро читают молитву, каждое воскресенье причащаются и вешают большие распятия в кухне над столом, за которым едят картофель с подливкой, жаркое или капусту со шпигом? Никакой! К чему все это, если они каждый день подстерегают меня и бьют? Вот уже пятьсот или

шестьсот лет – недаром они кичатся древностью своей религии, – вот уже тысячу лет они хоронят предков на христианском кладбище, уже тысячу лет они молятся и едят под распятием свой картофель с подливкой и шпиг с капустой. Зачем? Знаете, что они кричали, избивая меня? «Агнец божий». Такое мне дали прозвище.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; новые геометрические фигуры возникали, подобно письменам, а потом быстро и бесследно исчезали, то была музыка без мелодии, живопись без образов; четырехугольники, прямоугольники, ромбы – все это многократно повторялось; звонкие шары катились между черными бортами.

– А потом я попытался сделать иначе: я запирал дома дверь, придвигал к ней мебель, собирал все что мог – ящики, всякую рухлядь, матрацы – и нагромождал одно на другое; но в школе подняли тревогу и известили полицию, чтобы она явилась забрать прогульщика; полицейские оцепили дом и начали кричать: «Выходи, бездельник!» Но я не выходил, тогда они выломали дверь, отодвинули мебель, поймали меня и отвели в школу, где меня продолжали избивать, продолжали сталкивать в сточные канавы, продолжали ругать, называя «агнцем божьим»; хотя Бог сказал: «Паси овец Моих», но никто не пас Его овец, если людей вообще можно считать овцами божьими. Все бесполезно, господин доктор, напрасно дует ветер, напрасно идет снег, напрасно цветут деревья и опадают листья – они едят картофель с подливкой или шпиг с капустой.

Случалось, что моя мать была дома, пьяная и грязная, от нее пахло смертью и тленом, и она кричала: «Зачемзачемзачем?» Эти слова она произносила чаще, чем произносят «Господи помилуй!» в заупокойных молитвах. Она часами кричала «зачемзачемзачем», доводя меня до исступления, и я убегал – мокрый агнец божий, я бегал голодный под дождем, глина прилипала к моим ботинкам и к телу, глина облепляла меня с ног до головы, но я предпочитал лежать под дождем, в борозде на свекловичном поле, нежели слышать это страшное «зачем»; потом кто-нибудь находил меня и рано или поздно приводил домой и в школу, приводил в эту дыру по имени Денклинген, и они опять били меня, называя «агнцем божьим», а моя мать все повторяла свою бесконечную и ужасную жалобу «зачем»; я снова убегал, и они снова приводили меня. В конце концов меня все же отправили в приют. Там меня никто не знал – ни дети, ни взрослые, но не прошло и двух дней, как меня прозвали «агнцем божьим», и мне

опять стало страшно, хотя там никто не дрался; меня только высмеивали из-за того, что я не знал многих слов – не знал, что такое «завтрак», я знал лишь слово «есть»; я ел, когда была еда, когда я мог раздобыть себе что-нибудь поесть, но, увидев на доске объявление: «Завтрак – 30 г масла, 200 г хлеба, 50 г повидла, кофе с молоком», я спросил кого-то из ребят: «Что такое завтрак?» Дети окружили меня, а потом подошли взрослые; все смеялись и говорили: «Завтрак? Неужели ты не знаешь, что такое завтрак, неужели ты никогда не завтракал?» – «Нет», – ответил я. «А Библия, – напомнил один из взрослых, – разве ты не встречал в Библии слова «завтрак»? Но тут другой взрослый спросил первого: «А вы уверены, что в Библии встречается слово „завтрак”?» – «Нет, – сказал тот, – но где-нибудь, в какой-нибудь книге или же дома он должен был хотя бы раз встретить это слово, ведь парню уже скоро тринадцать, такие, как он, хуже дикарей, на этом примере видно, до какой степени беден язык народа». Я не знал также, что недавно была война; тогда они спросили меня, неужели я никогда не ходил на кладбище, где на могильных плитах написано: «Пал…» Я ответил, что ходил на кладбище; тогда они спросили, как же я понимаю слово «пал», и я сказал им, что, по моему мнению, покойники, похороненные под этими плитами, упали мертвыми. Тогда все опять начали смеяться еще громче, чем во время разговора о завтраке; в приюте нам преподавали историю с самых древних времен, но вскоре мне исполнилось четырнадцать лет, господин доктор, и в приют приехал директор отеля; всех четырнадцатилетних мальчиков построили в коридоре перед кабинетом заведующего, а потом появились заведующий и директор отеля. Они обошли строй, глядя нам в глаза, и сказали оба в один голос: «Мы ищем мальчиков, которые могли бы обслуживать публику», но выбрали они одного меня. Мне пришлось сразу же уложить вещи в картонную коробку и отправиться с директором сюда; в машине он сказал мне: «Надо надеяться, ты никогда не узнаешь, что твоему лицу цены нет, ты самый настоящий агнец божий», – и я почувствовал страх, господин доктор; я все еще боюсь и все еще жду, что меня начнут бить.

– Разве тебя бьют?

– Нет, никогда, но мне хотелось бы знать, что такое война, ведь мне пришлось уйти из школы до того, как учитель это объяснил. Вы знаете, что такое война?

– Да.

– Вы в ней участвовали?

– Да.

– Что вы делали?

– Я был подрывником, Гуго. Это тебе что-нибудь говорит?

– Да, я видел взрывы в каменоломнях за Денклингеном.

– То же самое делал и я, Гуго, только взрывал не скалы, а дома и церкви. Этого я еще никогда никому не рассказывал, кроме моей жены, но она уже давно умерла, и теперь этого не знает никто, только ты; даже мои родители и мои дети не знают; ты слышал, что я архитектор и, собственно говоря, должен был бы строить дома. Но я их никогда не строил, я их только взрывал; то же было и с церквами: мальчиком я без конца рисовал их на гладкой чертежной бумаге, я мечтал строить церкви, но я никогда их не строил. В армии начальство узнало из моих документов, что я писал дипломную работу об одной проблеме статики. Статика, Гуго, – это учение о равновесии сил, учение о натяжениях и сдвигах несущих поверхностей, без статики нельзя построить даже негритянскую хижину; а противоположностью статики является динамика. Это слово звучит почти так же, как динамит, который используется при взрывах; и впрямь динамика связана с динамитом. Всю войну я имел дело с динамитом. Я знал, что такое статика, Гуго, я проглотил массу книг по этому вопросу. Но чтобы взорвать что-нибудь, надо знать только одно: куда заложить заряд и какова должна быть его сила. Это я знал, дружок. Вот так и вышло, что я взрывал мосты и жилые кварталы, церкви и железнодорожные виадуки, виллы и уличные перекрестки; за это я получал ордена и меня повышали в чинах: от лейтенанта я дослужился до обер-лейтенанта, от обер-лейтенанта – до капитана; мне давали отпуска вне очереди и награды, и все потому, что я знал, как надо взрывать, а в конце войны я служил под началом генерала, который признавал только «сектор обстрела». Знаешь, что такое «сектор обстрела»? Нет?

Фемель взял кий наперевес, словно винтовку, и прицелился в башню Святого Северина.

– Вот видишь, – сказал он, – если бы я захотел стрелять в мост, который находится позади Святого Северина, то церковь лежала бы в моем «секторе обстрела», таким образом, ее следовало бы взорвать как можно скорее, сейчас же, без промедления, а то я не мог бы стрелять в мост; уверяю тебя, Гуго, я бы

взорвал Святого Северина, хотя знал, что мой генерал сумасшедший, хотя знал, что «сектор обстрела» в данном случае сущая чепуха, ведь если стрелять сверху, понимаешь, что тебе не нужно никакого «сектора обстрела», и в конце концов даже до самых тупоумных генералов должно дойти, что за последние полвека изобрели самолеты. Но мой генерал был сумасшедший, он вызубрил на всю жизнь свои лекции о «секторе обстрела», вот я и обеспечивал ему этот сектор; у меня в части собрались хорошие ребята – физики, архитекторы, и мы взрывали все, что попадалось на нашем пути, под конец мы взорвали одно величественное сооружение, нечто грандиозное, целый комплекс гигантских, построенных на века зданий – собор, конюшни, монашеские кельи, административные постройки, усадьбу – целое аббатство, Гуго; оно находилось как раз между двумя армиями – немецкой и американской, и я обеспечил немецкой армии «сектор обстрела», который ей был совершенно ни к чему; стены падали к моим ногам, на скотных дворах ревела скотина, монахи проклинали нас, но ничто не могло меня остановить, я взорвал все аббатство Святого Антония в Киссатале, взорвал за три дня до окончания войны. При этом я был корректен, дружок, неизменно корректен – такой же, каким ты привык меня видеть.

Только теперь Фемель опустил кий и перестал целиться в изображаемую мишень, он снова положил его на согнутый палец, потом толкнул бильярдный шар; белый шар, петляя, покатился по зеленому полю от одного черного борта к другому.

Колокола на Святом Северине изрыгнули время. Кто знает, когда в действительности прозвучали эти одиннадцать ударов?

– Взгляни-ка, дружок, почему за дверью такой шум?

Фемель еще раз толкнул красный шар по зеленому полю, подождал, пока шары остановятся, и отложил кий.

– Господин директор просит вас принять господина доктора Неттлингера.

– Ты бы принял человека по фамилии Неттлингер?

– Нет.

– Тогда покажи мне, как отсюда выбраться, минуя эту дверь.

– Вы можете пройти через ресторан, господин доктор, и выйти на Модестгассе.

– До свидания, Гуго, до завтра.

– До свидания, господин доктор.

В ресторане начался танец кельнеров, танец боев; они накрывали столы к обеду – толкали сервировочные столики по определенным маршрутам, раскладывали серебро, меняли вазы с цветами, вместо высоких вазочек с белыми гвоздиками ставили круглые вазочки со скромными фиалками; убирали со столов стаканчики с джемом и расставляли рюмки для вина: широкие – для красного, узкие – для белого; только на один стол, где сидела овечья жрица, они поставили молоко; в хрустальном графине оно казалось серым.

Фемель легкими шагами прошел между столиками, отодвинул лиловую портьеру, спустился по ступенькам вниз и сразу очутился на улице, как раз напротив башни Святого Северина.

4

Присутствие Леоноры успокаивало старого Фемеля; она осторожно ходила взад и вперед по его мастерской, открывала шкафы, выдвигала ящики, развязывала пачки бумаг, разворачивала свернутые в трубку чертежи; только изредка она подходила к окну, чтобы потревожить Фемеля; это случалось, когда на документе не было даты или на чертеже соответствующей надписи. Фемель любил порядок, но не умел его поддерживать. Леонора – вот кто наведет у него порядок; на просторном полу мастерской она раскладывала документы, чертежи, письма и расчеты по годам – пятьдесят лет прошло, а пол все еще дрожал от стука типографских машин; тысяча девятьсот седьмой год, восьмой, девятый, десятый; по мере того как век взрослел, пачки становились все толще, пачка за тысяча девятьсот девятый год была больше, чем за тысяча девятьсот восьмой, а пачка за тысяча девятьсот десятый больше, чем за девятьсот девятый; Леонора сумеет составить диаграмму его деятельности, она такая дотошная, ее здорово вымуштровали.

– Да, – сказал он, – не стесняйтесь, можете спрашивать меня сколько угодно, голубушка. Это? Это больница в Вайденхаммере, я построил ее в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, в сентябре ее открыли.

И Леонора вывела своим аккуратным почерком на полях чертежа: «1924 – IX».

Пачки военных лет, от тысяча девятьсот четырнадцатого до тысяча девятьсот восемнадцатого, были совсем тонкие, в них лежало по три-четыре чертежа, не больше; загородная вилла для генерала, охотничий домик для обер-бургомистра, часовня Святого Себастиана для стрелкового ферейна. Эти заказы он брал ради того, чтобы получить отпуск, за них платили драгоценными отпускными днями; чтобы повидаться с детьми, он бесплатно строил генералам дворцы.

– Нет, Леонора, это было в тысяча девятьсот тридцать пятом. Францисканский монастырь. Современная архитектура? Конечно, современные здания я тоже строил.

Большое окно в его мастерской всегда напоминало ему экран волшебного фонаря; цвет неба все время менялся, деревья во дворах становились то серыми, то черными, то опять зелеными, цветы в садиках на крышах цвели и отцветали. Дети, игравшие на свинцовых крышах, подрастали и сами становились родителями, а их родители превращались в бабушек и дедушек, и вот уже другие дети играли на свинцовых крышах; только очертания крыш не менялись, не менялся мост, не менялись горы, которые в ясные дни вырисовывались на горизонте; но потом Вторая мировая война изменила силуэт города, появились зияющие бреши, бреши, через которые проглядывал Рейн, отливающий в солнечные дни серебром, а в пасмурные дни чем-то серым, проглядывал разводной мост в Старой гавани, но теперь бреши уже давным-давно заполнили, на крыше дома Кильбов его внучка ходит взад и вперед с учебником в руках, точь-в-точь как пятьдесят лет назад ходила его жена. Или, быть может, это и впрямь его жена, Иоганна, читает там в солнечные дни «Коварство и любовь»?

Зазвонил телефон; как приятно, что Леонора взяла трубку, что ее голос ответил на телефонный вызов.

– Кафе «Кронер»? Я спрошу у господина тайного советника.

– Сколько человек ожидается к ужину? В мой день рождения? Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Двое внуков, сын, я и вы, Леонора, вы ведь не откажете мне?

Значит, всего пятеро. Их и в самом деле можно пересчитать по пальцам одной руки.

– Нет, шампанского не надо. Все, как мы договорились. Спасибо, Леонора.

Наверное, она считает меня сумасшедшим, но если я сумасшедший, значит, был им всегда; я все предвидел заранее, знал, чего хочу, и знал, что достигну этого; только одного я никогда не знал, не знаю и по сию пору: для чего я все это делал? Ради денег, ради славы, или только потому, что это меня забавляло? К чему я стремился в то утро, в пятницу, шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, пятьдесят один год назад, когда вышел из здания вокзала? Я продумал тогда заранее каждое движение, составил точный распорядок дня с того момента, как вступлю в город; я сочинил целое либретто, в котором должен был выступать в качестве танцора-солиста и балетмейстера одновременно; статисты и декорации были предоставлены мне совершенно безвозмездно.

Всего десять минут оставалось до того мгновения, как я сделаю свое первое па; мне надо бы перейти вокзальную площадь, миновать отель «Принц Генрих», пересечь Модестгассе и войти в кафе «Кронер». Я приехал в город как раз в тот день, когда мне минуло двадцать девять лет. Было сентябрьское утро. Извозчичьи клячи охраняли своих задремавших возниц, мальчики в лиловых ливреях отеля «Принц Генрих» тащили на вокзал чемоданы, поспешая за своими клиентами; над подъездами банков поднимались солидные железные ставни и с торжественным грохотом исчезали из виду; голуби, продавцы газет, уланы; эскадрон улан прогарцевал мимо отеля «Принц Генрих», ротмистр махнул рукой какой-то даме, стоявшей на балконе в палевой шляпке с вуалью, дама в ответ послала ему воздушный поцелуй; копыта цокали по булыжной мостовой, вымпелы развевались на утреннем ветру, из открытых дверей Святого Северина доносились звуки органа.

Я был взволнован; из кармана пиджака я вынул план города, развернул его и начал разглядывать красный полукруг, которым обвел вокзал, – пять черных крестиков обозначали главный собор и четыре ближайшие к нему церкви, я поднял глаза и разглядел в утренней дымке четыре церковных шпиля, пятый – Святого Северина – не надо было искать, он возвышался прямо передо мной, от

его гигантской тени меня пробирала дрожь; я снова углубился в свой план; все было правильно: желтый крестик обозначал дом, где я снял себе на полгода квартиру и мастерскую, заплатив за них вперед, – Модестгассе, 7, между Святым Северином и Модестскими воротами, мой дом был, видимо, справа, там, где через улицу как раз в эту минуту переходили несколько священников. Радиус полукруга, очерченного мною вокруг вокзала, был равен одному километру, в пределах этой красной черты жила девушка, на которой я женюсь; я еще не был знаком с ней, не знал, как ее зовут, знал только, что она будет принадлежать к одной из тех патрицианских семей, о которых мне рассказывал отец; он служил здесь три года в уланах и унес с собой ненависть к лошадям и офицерам; я уважал это чувство, но не разделял его; я был рад, что отцу не пришлось увидеть меня офицером – лейтенантом запаса инженерных войск; я рассмеялся, я часто смеялся в то утро, пятьдесят один год назад; я знал, что возьму жену из знатной семьи, ее фамилия будет Бродем или Кузениус, Кильб или Ферве, ей должно быть лет девятнадцать, и сейчас, именно в данную минуту, эта девушка, вернувшись с утренней мессы, прячет свой молитвенник в гардероб; отец еще успеет поцеловать ее в лоб, прежде чем раскаты его баса раздадутся в вестибюле, постепенно удаляясь по направлению к конторе; на завтрак девушка съест кусочек хлеба с медом и выпьет чашку кофе: «Нет, нет, мама, яйцо я не буду», потом она прочтет матери вслух расписание балов. Разрешат ли ей пойти на университетский бал? Разрешат.

Я познакомлюсь с девушкой, на которой женюсь, самое позднее на университетском балу шестого января. На этом балу я буду танцевать с ней; я всегда буду с ней хорошо обращаться, буду любить ее, и она родит мне детей – пятерых, шестерых, семерых; они вырастут и подарят мне внуков – пятью семь, шестью семь, семью семь; прислушиваясь к удаляющемуся цоканью копыт, я уже видел себя окруженным толпой внуков, видел себя восьмидесятилетним патриархом, восседающим во главе рода, который я собирался основать; я видел дни рождения, похороны, серебряные свадьбы и просто свадьбы, видел крестины, видел, как в мои старческие руки кладут младенцев-правнуков; я буду их любить так же, как своих молодых красивых невесток; невесток я буду приглашать позавтракать со мной, буду дарить им цветы и конфеты, одеколон и картины; и все это я знал заранее, выйдя в тот день из здания вокзала, готовый сделать свое первое па.

Я глядел вслед носильщику, который вез на тележке в дом номер семь по Модестгассе мой багаж: чемодан с бельем и чертежами и маленький кожаный саквояж, где лежали бумаги, документы и деньги – четыреста золотых, все мои сбережения за двенадцать лет работы в строительных конторах

провинциальных подрядчиков и в мастерских посредственных архитекторов, когда я чертил, рассчитывал и строил рабочие поселки, промышленные здания, церкви, школы, дома для различных союзов, корпя над сметами, с трудом продираясь через канцелярские обороты договорных пунктов: «…с тем чтобы деревянная панель в ризнице была сделана из орехового дерева наивысшего качества, без сучков, а для обивки были использованы ткани лучших сортов».

Помню, я смеялся, выходя из вокзала, хотя до сих пор не знаю, над чем и почему; одно мне ясно: мой смех был вызван отнюдь не весельем и радостью – в нем слышались и насмешка, и издевка, и, быть может, даже злость; я так и не узнал никогда, сколько приходилось на долю каждого из этих чувств; мне вспоминались жесткие скамейки на вечерних курсах по усовершенствованию, где я учился составлять сметы, изучал математику и черчение; я осваивал свою профессию и в то же время упражнялся в танцах и плавании; вспоминалось, как я служил лейтенантом в восьмом саперном батальоне в Кобленце, как сидел в летние вечера на Дойчес-Экк, глядя на воды Рейна и Мозеля, которые казались мне одинаково серыми; в памяти моей всплывали двадцать три меблированные комнаты, которые мне пришлось сменить, и хозяйские дочери, соблазненные мною и соблазнившие меня, вспоминалось, как я крался босиком по затхлым коридорам, чтобы вкусить женских ласк, вплоть до самой последней, хотя каждый раз оказывалось, что это фальшивая монета; вспоминался запах лаванды и волосы, распущенные по плечам, и ужасные гостиные, где в зеленоватых стеклянных вазах увядали фрукты, которые не разрешалось есть, вспоминались жесткие слова, такие, как «подлец», «честь», «невинность»; в гостиных уже не пахло лавандой, и я, содрогаясь, читал свое будущее не на лице обесчещенной, а на лице ее матери, где было написано все, что мне уготовано. Я не был подлецом и не обещал жениться ни на одной из девушек, я не хотел провести всю свою жизнь в гостиных, где фрукты увядали в зеленоватых стеклянных вазах, потому что их не полагается есть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/bell-_genrih/bil-yard-v-polovine-desyatogo

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить